

Татяна Чурус

# Париж

Роман

18+

# Татьяна Юрьевна Чурус

## Париж

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=65838461](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65838461)*

*SelfPub; 2021*

### Аннотация

Роман «Париж» переносит читателя в атмосферу конца 70-х – начала 80-х. Только речь идет вовсе не о Париже как о географическом объекте. Юная героиня романа Таня Чудинова, от лица которой ведется повествование, чувствует себя взрослой, не похожей на других. Это вызывает гнев ее родителей: папы – офицера загадочной «кэжэбы», считающего себя «не простым смертным», и мамы – несчастной женщины, которая не знает любви и не может ее подарить своим близким. Недоверие, непонимание и насилие, царящее в семье Чудиновых, способствует тому, что девочка придумывает внутренний мир, «Париж», куда можно сбежать и где царят гармония и веселая игра. Встреча с Алешей, в котором героиня узнает «своего», любовь к нему, а затем внезапное исчезновение мальчика – рождает в душе Тани бунт. «Париж» – роман о том, как в мире насилия обретает свое истинное «я» особый ребенок. Роман щедро приправлен деталями быта времен застоя, а также школьным фольклором и будет интересен всем, кто родился и вырос на закате СССР.

# Татьяна Чурус

## Париж

«Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – пела я. Большая терция. До-мажор. До-до, до-до, до-до, до-до, до-до, до-до, до-до, до-до! Ми-и! Ми-и!<sup>1</sup> Париж был совсем близко, всего лишь в какой-то терции от меня. Хоть и большой терции. Попасть туда можно было так просто – мне, пятилетней кудрявой девочке с круглыми, вечно удивленными, глазами, которые я закрывала нежно, едва касаясь веками глазниц, ведь он там, Париж, на кончике трепещущего тонким крылышком – так мне казалось – века, там, на губах, которые на миг смыкались, чтобы вытолкнуть, выпнуть строптивый звук «п», а он топорщился, вздувался воздушным шариком, там, на кончике языка, который скатывался с горки крутого «р» к мягкому, теплому, словно бабушкина шаль, «ш» – пузырьки на поверхности стакана с лимонадом вот так «шикают». Париж-ш-ш-ш... Я лишь недавно выучилась скатываться с крутой горки «р-р-р-р-р», недавно выучилась пускать пузыри «ш-ш-ш», раньше ты был «Палис», и я пела «Палис-Палис». (Я не выговаривала звук «р» лет до шести, но папа заставлял меня сто раз на

---

<sup>1</sup> Вся эту музыкальную фразу: «До-до, до-до, до-до, до-до, до-до, до-до, до-до, до-до! Ми-и! Ми-и!» – нужно петь вот так, затаив дыхание, закрыв глаза и раскачиваясь туда-сюда!

дню долбить «триста тридцать три» – и я научилась произносить этот несчастный «л-л-л-р-р-р»).

Я стояла во дворе дома, пятиэтажного маленького дома, что у цирка, куда мы с бабушкой ходили кормить голубей «мочонками» («мочонки» – это бабушкино словцо: бабушка кладет большие белые сухари в баночку, наливает туда воды, и, когда сухари размокнут и превратятся в эти самые «мочонки», мы берем с собой баночку и идем гулять), я стояла, задрав голову кверху, к самому пятому этажу, ведь там жили теть Алла и дядь Боря, им очень нравилось, как я пою, и я пела: «Палис-Палис, Палис-Палис, Палис-Палис, Палис-Палис! А-а! А-а!» – а теть Алла кидала мне с балкона конфеты «Взлетные» (наша соседка теть Алла работала в аэропорту «Толмачёво», и конфет у нее было как звезд в небе, потому что в самолетах («Летайте самолетами “Аэрофлота”»!) – каждому пассажиру выдают сосательные конфеты, которые я ну просто обожаю («обожаю – в помойку провожаю!» – так любим говорить мы с подружками)), теть Алла кидала мне конфеты горстями, и я кланялась, как истинный артист. «Вот выласту, – кричала я, – и улечу в Палиш!» (Мама почему-то невзлюбила мою песенку про Париж. «Да кому ты там нужна, засранка?» – посмеивалась она.)

А теперь мы все, Чудиновы: папа, мама, бабушка, Галинка и я – переехали на другую квартиру, и теперь ты «Париш-ш-ш-ш», я и пишу тебя «Пар-р-риш-ш-ш» – мне ведь стукнуло семь, я большая, я школьница, и я уже пишу, а ты вечный,

ты паришь... Совсем близко, на расстоянии вытянутой руки... нет, большой терции. Совсем недавно я не знала ни о какой терции – ни о большой, ни о малой, не знала и о кварте, квинте, доминант-септ-аккорде. А теперь знаю.

Музыке меня учит Лилия Григорьевна. Мы ходим к ней с Аленкой, моей подружкой, домой. Я иду широким шагом. Рядом семенит «пигалица» («пигалица» – это папино словечко) Аленка своими маленькими коротенькими ножками, тонкие косицы, отличница, чуть что не по ее – пищит: ну да, Таня! – и с укором, щуря глаза, как актриса из фильма про взрослую любовь, смотрит на меня, задрав голову. И шарф она не носит – коротенькая шейка смешно выглядывает из ворота неуклюжей искусственной шубы, и шерстяные носки не надевает – тепло ей («Тепло – под носом потекло», – ворчит моя бабушка, укутывая меня в толстенную пуховую шаль: вечно этот пух в рот попадает). И ключ у Аленки на шее: такая голубая, истертая в дым тесемочка, – а на ней ключ.

Аленка заговорщически достает его из ворота кофты, растянутой, застиранной – когда-то она была розовой, кофта. Ее носила еще Иришка – Аленкина сестра, тестообразная, с тихим ползущим голоском, с маленькими глазками-буравчиками за стеклышками очков, с ямками на щеках и вечной улыбкой на пылающем лице. Она красит ногти, а потом стирает лак ацетоном: отца боится. Отец ее – ну, и Аленкин тоже – увидел раз красные Иришкины ногти и заставил бедняжку

отдирать лак зубами. Я тоже крашу ногти (мы с девчонками добавляем в бесцветный лак чернила – красота: синие, зеленые, черные ногти получаются), и никто меня не заставляет отдирать его зубами, а еще мы добавляем духи в засохшие фломастеры – и потом наши песенники (у меня самый красивый песенник, мне моя сестра Галинка помогает его делать – она вообще лучше всех (не то что эта дура Иришка): прыгает с нами, девчонками, в резиночку, играет в виселицу, учит меня английшу; «A black cat sat on a map and ate a fat rat», – радостно выкрикиваю я; мы вырезаем картинки из журналов «Крестьянка», «Работница», «Здоровье», вымениваем их с девчонками друг у друга, записываем тексты песен в песенник с одной стороны, наклеиваем картинки с другой, делаем красивые заголовки фломастерами, а в конце песенника у меня есть такая страничка, называется «Кто откроет этот лист, тот на память распишись» – у меня уже 42 росписи!), в общем, потом наши песенники пахнут духами «Наташа», «Красная Москва», «Может быть», «Ландыш», а у Алиски Сусекиной – французскими духами: у нее «мать торгашка» («торгашка» – так моя мама говорит – и хмыкает), что хочешь достать может. А Иришка просто дура («Ты дура, блин, дешманка, блин!» – любим мы дразниться с девчонками).

Ей Аленка вечно конфеты таскает. Недавно вот к Ленке ходили Алексашкиной на день рождения. Аленка цоп со стола горсть «мишек», «красных шапочек», «белочек», «трю-

фелей» – и в карман. А старая бабка Алексашкина – вся ссохлась, скособочилась, того и гляди, распадется, точно шуба, изъеденная молью, – как заорет в три горла (моя бабушка так говорит: «в три горла» – это прямо как аккорд из трех звуков, нас Лилия Григорьевна учила):

«Ты куда, – орет трехгорлая бабка, – конфеты тянешь?» Видит, как Аленка «мишек» с «белочками» цапнула да в карман их припрятала – и орет. На месте кармана теперь шишка такая надулась с кулак. «А у Аленки титька выросла!» – хихикает Данька Пеньков, девчачий пастух – маленький, на две головы меня ниже, ботиночки крохотные, как у моего пупсика Митьки. Даньку вечно все наши девчонки на день рождения приглашают. Кузя (Кузей мы Наташку Кузьменко зовем: она у нас в классе самая младшенькая), ему даже открыточку такую прислала, с розочкой (Данька давай хвастать и всем эту открытку показывать):

«Дарагой Даня! Приходи ко мне на деньрождение!» – и сердечко пририсовала, вот дурочка с переулочка!

Я тоже Даньку приглашала, на концерт: мы концерт у нас дома устраивали, настоящий – не тот «концерт», который имеет в виду моя мама. «Нажрутся отборных продуктов, – фыркает она (впервые мама произнесла эту сакраментальную фразу «нажрутся отборных продуктов», застав меня за весьма неприглядным занятием: я вылавливала из горохового супа мясные ребрышки, обглаживала их и сбрасывала косточки в кастрюлю), – и звякают («звякают» – мама так го-

ворит, когда я подбираю на пианино аккорды, а мы с Галинкой распеваем песенки на два голоса), силищу девать некуда, лучше бы матери помогли, халды, мне завтра в шесть часов вставать!» Мы с Аленкой программу составили, Галинка была ведущей, надела красивое платье и объявляла выступающих (вообще-то я хотела, чтобы Галинка объявила с выражением, как диктор: «Выступает заслуженная артистка Советского Союза (мама называет меня «застуженной артисткой») Татьяна Чудинова, – но она робко промолвила: «Выступает Таня Чудинова», – и залилась краской).

Я пела песенки собственного сочинения: «Ехал по рельсам трамвайчик, / Ехал в трамвайчике том, / Ехал малыш-неудачник / С черным несчастным котом...», «Кис, туду, Кис, туду, Кис, ты очень глупый человек, туду» – и подыгрывала себе на пианино, читала стихи, тоже собственного сочинения: «Шар летает за окном, он резвится, кружится, / Но я знал уже давно: попадет шар в лужицу. / И мечты мои сбылись – лопнул шарик красненький / И повис сосулькой вниз, как провинный маленький...», «Париж-Париж» я петь не стала. Аленка читала басню «Ворона и лисица» своим писклявым голоском – не могла сама сочинить, отличница: «Сыр выпал – с ним была плутовка такова», – и шурила по-лисийски глазки, будто бы говорила: «Ну да, Таня!». Лариска Кащенко била по клавишам и горланила какую-то «мусть с жутью», как говорит моя мама, «Спела не очень, а вот сыграла здорово!» – прокомментировал Дань-



ка, а Лариска эта, дура несчастная, вообще играть не умеет, только и знает воображать. Танька Печенкина фокусы показывала карточные. (Дядь Федор – муж моей тетки Василисы (бабушка зовет его Хвёдор) – здорово фокусы показывает карточные: он, когда я маленькая была, нянчился со мной однажды; «Давай, – говорит, – в карты играть», – и выиграл у меня кубики и рыбку резиновую игрушечную, правда, мама потом у дядь Федора забрала и кубики, и рыбку, а бабушка его «пустым боталом» назвала. А еще, помню, «гуляли» (так мама и тетки говорят) у нас всей родней: водку пили, песни пели, до мордобоя, правда, не дошло. Вот погуляли – я маме помогать: собираю со стола пустые водочные бутылки и на кухню утаскиваю. Дядь Федор увидел это и цыкнул: куда, мол, тащишь, а ну стой, кому сказал! Я замерла. А он бутылочку берет – и с десяток капель в стопочку сливает. Другую берет – сливает. Так «добрая рюмашка» и вышла. Дядь Федор опрокинул водку в глотку. «Эдак-то, брат», – сказал, подмигнул и утер рот рукавом пиджака.)

Концерт закончился – за окном уже темно было, и мы пили лимонад, ели кукурузные палочки (мы с Аленкой кукурузные палочки «курим»: берем в рот палочку и делаем вид, что курим, а сами подъедаем желтое сладкое лакомство, а еще Аленка высылает посылки с кукурузными палочками, земляничным печеньем и детским ирисом в Болгарию, своей подруге по переписке, которую зовут Лили, как гимнастку Лили Игнатову: «У них там нет ничего», – пишит сердоболь-

ная пигалица, заталкивая в холщовый мешок, который она сшила сама, серые хрустящие коробки: на них нарисованы львенок, жираф (я, когда была маленькая, называла жирафа «жирáусом») и обезьянка) – в общем, пили мы лимонад, ели кукурузные палочки. А потом моя мама сказала, что ей завтра в шесть часов вставать, «никакого покоя». А Лилия Емельяновна – Аленкина мама, она за Аленкой зашла, – что «у этих Чудиновых вечно балаган – пойдем, Алена!». Мама вслед Аленке и Лилии Емельяновне успела крикнуть: «Сктертью дорога, корми тут всех!»

«А у Аленки титька выросла!» – хихикает Данька. Аленка «тьтку» рукой прикрыла, пищит: «Это я Иришке конфеты беру!» А бабка: «Да твоей Иришке уж своих детей нянчить пора, а она всё девчонку подучивает конфеты таскать. А ну положи, говорю!» Аленка – косицы топорщатся – за «тьтку»... Карман лопнул от обиды – и «мишки», «красные шапочки», «белочки», «трюфели» прямо в салат оливье! Всё бабка трехгорлая! А Иришке толстомясой так и надо! Так моя мама ее называет: «толстомяся».

Не любит она Буяновых, это «семе́йку чертову» Аленкину. «И чтобы твоей ноги там больше не было!» – строжится. Я разбила любимую вазу Аленкиной мамы Лилии Емельяновны (Лилия Емельяновна, Лилия Григорьевна – сплошные Лилии, правда, Лилию Григорьевну, которая учит меня музыке, я тогда еще не знала, не знала я и большую терцию, но вот Париж, Париж был уже совсем близко!).

Разбила той самой ногой, про которую говорит моя мама, чтобы ее там не было. Только вот я Буяновых: Иришку – толстомясую, тестоподобную, Лилию Емельяновну – она похожа на маленькую девочку с большой бородавкой (мама любит говорить «похож как вилка на бутылку», то есть «совсем не похож»), которая присосалась, словно пиявка, к ее верхней губе (если честно, иногда мне кажется, что к Лилииемельяновниной губе присосалась не пиявка, а тестоподобная Иришка), Артемия Васильевича, который заставляет Иришку отдирать лак с ногтей зубами, Аленку с тонкими косицами и ее вечным «Ну да, Таня!» и Пика – смесь бульдога с носорогом, как говорит моя мама, лохматого добродушного пса, который обожает сливочное масло (Пик масло ворует (лапой со стола, сама видела), а потом зарывает в потертый полосатый половик: половик этот развалился у порога – вечно нога проваливается во что-то мягкое) и дружит исключительно с собаками, что живут на соседней улице, – так вот я Буяновых люблю и постоянно у них отираюсь.

Мне семь лет, у меня 33-й размер ноги. «Обуви на нее не напасешься», – жалуется людям моя мама. Аленкиной маме лет сорок, а то и больше, у нее тоже 33-й размер, и она тоже жалуется людям: «У людей размеры как размеры, а я на свою кукольную ногу до сих пор туфли в “Детском мире” покупаю».

Аленка заговорщически достает из выреза кофты ключ – и мы сломя голову бежим к ней домой (Лилия Емельяновна

со своей бородавкой на работе, Артемий Васильевич в командировке, Иришка в институте, Пик на прогулке) и первым делом натягиваем на себя туфли на высоком каблуке, которые у Лилии Емельяновны «на выход»: «Туфли на выход! – дергает она короткими ножонками, встречая мою маму на улице, – а ваша дочь нацепила их на свои грязные ноги...» – «Неправда! – машет руками моя мама. – У моей дочери чистые ноги! Это у вас вечно псиной воняет и весь пол маслом вымазан, не успеваю отстирывать гольфы и колготки!» Зато пол блестя-и-ит! И можно, разогнавшись как следует, сигануть из одного конца коридора в другой, будто на катке, да и коньков не надо! «Зыко!» – пищит Аленка, когда я скользя, словно Ирина Роднина, по масляному (уж Пик постарался) коридору и пою: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» «Шесть ноль», – пищит Аленка. Я заканчиваю выступление под овации зала.

А еще мы играем с Аленкой в гимнасток («Дюба-дюба, дюба-дюба, шани-шани, шани-шани! – всегда считаемся мы перед игрой. – А дюба-дюба-дюба, а дони-дони-дони! Ай ми, замри! Эни-бени-рикатави, тебус-ребус – и повис. Рыжая Наташка, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Наша ботаничка тощая, как спичка, на высоких каблуках и с ботаникой в руках. А пони, пони, пони сидели на балконе. Чай пили, чашки били, по-турецки говорили: «Чаби-челяби, челяби-ляби-ляби». Мы набрали в рот воды, мы сказали всем: замри! А кто первый отомрет, тот получит шиш-

ку в лоб. Шишечка еловая, сорокапудовая. Рыба-карась, игра началась» – посчитались: я – Надя Комэнечи, Аленка – Ольга Корбут).

Через большую Буяновскую комнату (вместо «комната» Иришка-бородавка говорит своим ползущим голоском «зала»), словно брусья в зале гимнастическом, протянуты две бельевые веревки. Мы раздвигаем наволочки и полотенца – белый занавес, – притаскиваем с кухни табуретки, залазим на них и, держась за веревки, начинаем выделывать ногами такие па, что нам восхищенно рукоплещет сама Лариса Латынина. Я отчаянно машу своей длинной – и чистой – ногой, обутой в туфлю «на выход», я пою «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – и в тот самый момент, когда трибуны замирают в ожидании чуда, любимая ваза Лилии Емельяновны под неистовую тишину совершает кульбит и разбивается вдребезги... «Зыко! Брыко!» – пищит Аленка. Осколки «чистого хрустала» («Это чистый хрусталь! – голосит Лилия Емельяновна и дрыгает ножонками в «туфлях на выход», встречая мою маму на улице. – Ваша дочь разбила чехословацкую вазу!» – «Да какой это хрусталь? – машет руками моя мама. – Может, еще скажете, у вас в ушах бриллианты?» – Лилия Емельяновна хватается за пылающие уши, на которых, словно стройные гимнастки, висят, раскачиваясь туда-сюда, длинные сережки за 70 копеек из соседнего универсама, что как раз на той самой улице, куда любит отправляться на прогул-

ку Пик), так вот, осколки «чистого хрустала» «за 70 копеек» безжалостно вонзаются в истертый палас. И тут в дверь Буяновых кто-то скребется. Аленка судорожно хватается веник с совком и замечает следы преступления. Я успеваю стянуть со своих «чистых ног», которых теперь, как видно, долго не будет в доме Буяновых, «туфли на выход», Аленка бежит к двери... Это Пик вернулся с прогулки и лакомится припасенным кусочком масла, щедро сдобренным припороженной грязью. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – пою я неистово, просто глотку деру («глотку деру» – так говорит моя мама, которой в шесть часов вставать, а я вечно ей не даю уснуть).

Музыке меня учит Лилия Григорьевна. Мы ходим к ней с Аленкой домой. На самом деле зовут ее Изольда Григорьевна. Играю я как-то этюд Черни (ми – фа – соль – аккорд ми-до) – стук в дверь. И прямо с порога голосок: «Гражданка Мюллер? Изольда Григорьевна?» – и человечек невысокого росточка ловко втискивается в квартиру Лилии Григорьевны, будто торопится запрыгнуть в отъезжающий автобус и перед его носом вот-вот закроются двери. «А почему, собственно, гражданка?» – Лилия Григорьевна запахивает на груди халат и закуривает. А про Изольду и Мюллер ни слова! Мы с Аленкой переглядываемся (Изольда, да еще и Мюллер (мы с девчонками обожаем фильм про Штирлица и Мюллера)! – неужели разведчица?).

Человечек чихает. «Проверка газового оборудования», –

он тараторит, сплевывает с тонких губ слова, точно шелуху от семечек, и шныряет на кухню. Мы с Аленкой снова переглядываемся: что-то не нравится мне этот проверяющий. Я в кино видела: приходит к какому-нибудь советскому человеку такой человек юркий, глазки бегают – и под видом проверки совершает диверсию... Я нарочно играю громче – пусть знают, что Лилия Григорьевна не одна и что никакая она не гражданка! «Давай не скажем Лилии Григорьевне, – пищит Аленка стаккато, – что мы знаем, как ее зовут». «Давай», – и я кидаю на клавиши руки в заключительном аккорде. Человек прощается и шныряет в темноту.

У Лилии Григорьевны черные крашенные волосы, но мне и в голову не приходит, что она выкрасила волосы в черный цвет, чтобы выглядеть моложе и привлекательнее (мама подкрашивает свои густые тяжелые кудри хной – и они отливают золотом на солнце, словно на голове у мамы корона!), – и поэтому думаю, что Лилия Григорьевна жгучая брюнетка («Да какая она брюнетка? – смеется мама. – Алкашка крашенная!»).

Слово «алкашка», то есть «алкаш», я уже знаю от мамы и теток. Дядь Митяй, муж маминой сестры, и дядь Федор, муж маминой другой сестры, который фокусы показывает карточные, – алкаши. «У, алкаши проклятые! – говорят моя мама и тетки. – У людей мужья как мужья, а эти! Пропастины чертовы! Залют шары – никакой жизни!»

Как дядь Митяй с дядь Федором шары заливают, я не ви-

дывала, зато вот другой мой дядя – дядь Гена, мамин брат (про дядь Гену-то мама с тетками ни разу не сказали «алкаш»: брат ведь, не чужой дядька), «шары залил» как-то раз, яйцо ест – яйцо в скорлупе, вкрутую... Я, когда маленькая была, совсем маленькая, говорила «яйцо в мундире», наверное потому, что мой папа очень «уважает картошечку в мундирах» – так прямо и говорит, и у него есть мундир цвета морской волны. Папа военный, работает в «кэгэбе» (что это за «кэгэба» такая, я пока что не знаю, но о ней нельзя рассказывать никому на свете. «Если спросят, где, мол, твой папка работает, – подмигнул как-то раз папа, – говори: на заводе, мол»). Правда, в классном журнале – ведь я уже в школу хожу – написано, что мой папа служит в воинской части № 371).

На праздники папа возвращается с работы с большим бу- мажным мешком: а уж я жду папу, как Деда Мороза! – и едва заслышав шаги и шуршание пакета – пакет ворчит си-фа, он хочет, чтобы его поскорее освободили от тяжелой ноши, – бросаюсь к папе с радостным криком: «Принес?» Папа не то чтобы «шары залил», но «прощельга чертов, опять москвича поил» (не любит моя мама этого загадочного москвича, который приезжает в наш город раза три–четыре в год, и мой папа его почему-то всегда поит), он входит в дверь в своем мундире, немного помятом и лоснящемся не то от жира, не то от величия момента, улыбается и напевает песенку собственного сочинения: «А здравствуй, милая моя, а ты откедова пришла?» «Пустое ботало, – машет рукой бабушка. –



Нет чтобы что-то доброе сказать!» Мама сердито нюхает воздух: так делает Пик, когда чует заветное масло под половиком. Папа ликует, слегка пошатываясь, проходит на кухню прямо в сапогах, ставит неверной рукой на стол пакет и начинает извлекать из него: «колбаску сырокопченую, икорку красную, колбаску салями, шпротики, рыбку красную, кофе-ек растворимый, чаек в пакетиках, молочко сгущенное, балычок, окорочок, печеночку трески» – пустой пакет радостно выдыхает: ну наконец-то! Мама заметно добреет, оглаживая колбасные изделия; но это не всё: словно факир в цирке, папа запускает руку на самое дно пакета и извлекает на свет божий жестяную банку синего цвета: алле! «А ты откедова пришла?» – поет папа и заливается беззаботным смехом, плечи его ходят ходуном, звезды на погонах сверкают, словно огоньки на елке. Я прижимаю к сердцу холодную тяжелую банку, на которой стилизованными под арабскую вязь русскими буквами написано «Восточные сладости» – жестянка радостно гремит в ответ щербетом, козинаком, нугой, пастилой, сливочной колбаской, орешками в сахарной пудре, халвой, лукумом. И это всё моё! «Что бы ты без отца делала! – назидательно улыбается папа. – Простые смертные такие продукты не употребляют». «И чтобы эту Буянову не кормила!» – грозит пальцем мама. «И никому! – папа подносит пальчик к губам. – Спросят, что папка принес в бумажном пакете, – скажи: кильки в томатном соусе». «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-

а!» – пою я про себя. Я не простая смертная!

А еще простые смертные не носят японские курточки и финские сапожки, не ходят в санчасть, когда заболеют (мы идем в санчасть, и мама надевает «на выход» мохеровый шарф, так чтобы была видна фирменная этикетка, норковую шапку – и сидит прямо в шарфе и в шапке, пока я ношусь по коридору (мама и меня учит: вот эти трусики на выход (или к врачу, что одно и то же), эта кофточка на выход – и прячет новенькие вещички куда подальше «от этой засранки», а еще она собирает «приданое» мне и Галинке: простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца лежат огромными тяжелыми стопками в шифоньере – я изредка открываю его и вдыхаю запах «приданого»: «Чует мое сердце, эта (то есть я) быстрее замуж выскочит, чем эта (Галинка) колода, навязалась на мою голову», – ворчит мама и подкладывает новенькое полотенце («по благу достала, импортное, китайское») к «приданому»), а еще простые смертные не ездят в Трускавец (Галинка, между прочим, в Трускавце ни разу не была, эля-качеля!) в «кэгэбэшный» санаторий, не ходят по красным коврам, которыми устланы «кэгэбэшные» лестницы, не сидят за столами в большом зале с зеркалами и с хрустальной люстрой, которая висит прямо над самой моей головой, не заказывают на обед штуфат (многие и слова-то такого не знают: «штуфат» – я и сама не знала, пока не попала в Трускавец), и мусс, и суп фруктовый, и сколько хочешь гречки, не пьют кислородный коктейль (коктейль похож на пену от

стирального порошка, только сладкую), не ходят на процедуры в лечебницу (в лечебнице работает Стéфа, которая накладывает мне озокерит – это такая лечебная грязь – на «область правого подреберья» – так записано в моей санаторно-курортной книжке, – а он пахне-е-ет – обалдеть как!), не пьют «Нафтусю» (пьют «Нафтусю» обычно в Бювете минеральных вод из таких кружечек с носиком – у меня зелененькая кружечка с надписью «Трускавец»)!

Трускавец! Он такой мягкий, такой зеленый, будто нота соль. Я брожу по узким улочкам и пою «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» А прямо на улицах деревья – и на них растут сливы, грецкие орехи! А на главной площади голуби, тьма голубей: их можно кормить с руки, хлебом, семечками (если бы бабушка поехала со мной в Трускавец, она обязательно кормила бы местных голубей своими мочонками).

Один голубь кáкнул маме на берет. «Бандеровец проклятый!» – сквозь зубы процедила мама и обтерла берет салфеткой. А по радио объявляют: «Говóрит Киев. Девять годин, пятнадцать хвылын»! А вечером в санатории танцы или кино! И пока никого нет, можно снять туфли и в одних носках скользить по паркету, которым выложен пол в большом зале (паркет этот скользкий как лед – не то что Аленкин пол, вымазанный маслом)!

А потом сбежать от родителей с девчонками и мальчишками в зимний сад и рассказывать страшные истории до но-

чи. Я дружу с Сережкой Капульником (мы сидим с Капульниками: Сережкой и его бабушкой Зоей Сергеевной – в столовой за одним столом) и с Сережкой Морозовым (Морозов, дурак несчастный, сидит в самом конце большого зала, видит мое отражение в зеркале и посылает воздушные поцелуи – шарики за ролики заехали, что ли?).

«В одном черном-черном городе стоит черный-черный дом», – низким голосом шепчет Анька Синько (Аньке – у нее толстые красные губы – очень нравится Сережка Морозов).

«Сто раз уже рассказывала, забодала! – Сережка Морозов хватает меня за руку, тянет куда-то в угол. Темно, страшно и пахнет розами. – Я тебя сейчас целовать буду!» – бубнит Сережка, его глаза сверкают в темноте, как у разбойника. Я чихаю – Сережка тычется носом в мою щеку, и я чувствую на губах вкус ириски «Кис-кис». «Ну вы что, вообще, что ли?» – кричит Анька Синько. «Отвали на полштанины!» – отталкивает ее Сережка. Мы идем с ним по коридору в обнимку. А на следующее утро его щеки горят красными пятнами, когда он смотрит на мое отражение в зеркале. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!..»

Между прочим, дядь Гена (совсем я забыла про бедного дядь Гену!) тоже мог бы ездить в Трускавец и ходить по красной ковровой дорожке, ведь когда-то, когда меня еще и на свете не было, он служил вместе с папой, но вот теперь папа в «кэґэбе», а дядь Гена так и остался простым смерт-

ным и кусает яйцо – «мундир» хрустит на зубах – дядь Гена хмурится, отплевывает скорлупу, опять кусает яйцо, опять отплевывает... И добавляет сквозь слезы: «Империалисты, мать их за ногу, до чего довели рабочий класс!» В этой фразе скрыт глубинный смысл, который я не в силах раскусить. «Дядь Ген! – кричу я. – А что такое “происки империалистов”?» (про эти самые «происки империалистов» недавно говорила Вера Шебеко в программе «Время»).

Яйцо в крепкой белой броне мне представляется загадкой, которую империалисты подкинули рабочему классу, а та ему не по зубам. Но дядь Гена лишь плачет и отплевывает скорлупу.

Яйца я тоже люблю, всмятку, ложечкой, из пашотницы. И знать не знала бы, что такое пашотница, если бы папа не купил ее, за копейку: пашотницу уценили, потому что ее никто не покупал, а мой папа как раз любит всё уцененное – только увидит где что уценили – у него глаз и загорается, словно звезда на погоне («Вечно всякую дрянь в дом тащит, ремошник чертов!») – машет руками мама: ну не хочет она, чтобы папа становился простым смертным).

И вот папа, весело напевая песенку собственного сочинения: «А здравствуй, милая моя, а ты откедова пришла?», – достает из большой авоськи – она напоминает мне рыболовные сети – сегодняшний «улов»: две алюминиевые ложки, чайничек без крышки, палку ливерной «колбаски» (когда папа произносит это слово – «колбаска», он блаженно улы-

бается; я и сама очень колбаску люблю, хоть какую: когда я была маленькая, я, закрыв глаза, восклицала: «Я просто не знаю, что бы я без колбаски делала!»), хлеб с отрубями (мама терпеть отрубной хлеб не может, она до пятнадцати лет не ела белого хлеба, она не желает, чтобы ей об этом напоминал своими отрубными булками папа, и каждый вечер, как придет с работы, съедает буханку белого хлеба, как «белый человек» – сама говорит: «хлеба белого поем – человеком себя чувствую»).

Папа, с блаженной детской улыбкой на устах, продолжает извлекать из «сетей» «рыбку за рыбкой»: конфеты «Дунькина радость» (я тут же выхватываю из огромного сермяжного пакета пару-тройку слипшихся сладких подушечек, которые совершенно не похожи на волшебный лукум), обрезанные яблоки, семечки в газетном кульке («Сам бы ел, да детям надо», – приговаривает папа) и брошюры из «Букиниста» («Вот и жри брошюры! – кричит обычно мама, когда папа приносит не паёк из «кэгэбы», а очередную стопку истрепанных книжек, какая за копейку, какая за две, а я представляю, что папа, вот как Чарли Чаплин ел ботинок, – ест книжку, обсасывая корешок; я обожаю Чарли, и бабушка обожает (когда по телевизору показывают какой-нибудь его фильм, она ахает, хлопает в ладоши, громко хохочет, прикрывая рот кулачком, и постоянно оборачивается на меня: мол, глянь, что творит «этот котелок с тросточкой!» – я тогда еще не понимаю, что бабушка, неграмотная старуха из

глухой алтайской деревни, любит только настоящее, корневое: Чарли Чаплина, Марка Бернеса, Аркадия Райкина, Лидию Русланову, Евгения Леонова...) – «Вот и жри брошюры! – кричит мама. – Чего ты у меня ужинать просишь?») – я хватаю пашотницу, брошюрку «Происки империализма», зачерпываю в пригоршню «Дунькиной радости». «Где четырнадцать рублей? – наступает мама на папу. – Я спрашиваю тебя: где четырнадцать рублей?» Звонит телефон. Я хватаю трубку: «Алё, здравствуйте, а Таню можно? – Аленка! – Ты что, забыла, что у нас сегодня музыка?»

Одутловатое («алкашка чертова!») лицо Лилии Григорьевны проплывает передо мной в облачке из дыма: Лилия Григорьевна жадно сосет папироску «Беломор», тройной ее подбородок важно сотрясается в такт моему «Париж-Париж, а-а!». «Расскажи-ка мне, какие ты уже знаешь интервалы, Чудинова». Я боюсь эту крашеную брюнетку с тройным подбородком. Он похож на аккорд – две терции, вот как если бы спеть «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» на до-ми-соль. Нет, не хочу петь подбородок Лилии Григорьевны! Мне кажется, она в нем тайны свои прячет – их столько, что подбородок этот скоро превратится в доминантсептаккорд (в нем три терции), который требует немедленного разрешения. Я знаю уже все интервалы, знаю, что такое доминантсептаккорд, у меня абсолютный слух. Но я молчу, вернее пою про себя свой «Париж-Париж», – и Лилия Григорьевна ставит мне жирную двойку

в нотную тетрадь. Пигалица Аленка не может отличить ноты «до» от ноты «ми», но она бойко тараторит: «Секунда, терция, кварта...» «Молодец, Алена», – басит Лилия Григорьевна и ставит Аленке в нотную тетрадь пятерку.

«Мы платим этой алкашке пять рублей в месяц! – машет руками мама, принохиваясь к двойке в моей нотной тетради. – Деньги псу под хвост выбрасываем! Хватит. Чтобы ноги твоей там больше не было». Но мы идем с Аленкой к Лилии Григорьевне снова и снова. Под ногами шуршат листья, красные, желтые. Но Аленка не слышит, как они поют: до-до-фа-до. А ветер подпевает им: фа-до-до! «Ты вчера “Что? Где? Когда?” смотрела? – пищит Аленка, задрав голову. А листья поют до-до-фа-до, а ветер подхватывает их фа-до-до! – Ну да, Таня! – обиженно пищит Аленка. И вдруг... соль-соль-соль-соль-ми! Соль-соль-соль-соль-ми! Маленькая птичка – спинка с зеленым отливом, грудка красно-бурая – села на веточку, почти уже голуую: октябрь на дворе – и заливается. Да это зяблик! Какой хорошенький! Я смеюсь, смотрю на Аленку: слышишь, мол, как он свое «соль-соль-ми» выводит? – Ну да, Таня!» – надувает губки Аленка, но замечает качели, несется к ним, качается. Соль-соль-соль-соль-ми! – скрипят веселые качели.

Соль – моя самая любимая нота, ясная, звонкая, светлая, какая-то прозрачная и зеленого, как мне кажется, цвета, вот как этот зяблик! – и это мой любимый цвет, зеленый. Почему же тогда «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Па-



риж-Париж! А-а! А-а!» я пою на до-ми? Потому что Париж, он сине-красный! Ведь до – синяя, а ми – красная! Правда, наша соседка с восьмого этажа Ираида Николаевна (у Ираиды Николаевны две дочки: Женя, Оля – и собака колли по имени Джесси – когда я вижу их, то пою «Оля-колли-Джесси-Женя как доминантсептаккорд до-ми-соль-си бемоль) – Ираида Николаевна была в Париже! – и уверяет, что Париж – серебристо-серый («Мы бродили с зонтиками под дождем целый день, был конец августа – и город словно бы покрылся серебристым палантином»).

Красиво! А мой Париж сине-красный! До-ми!

Но разве Аленка – хоть и отличница, хоть Лилия Григорьевна и ставит ей шатающиеся («алкашка чертова!») пятерки в нотную тетрадь – это поймет? Аленка влюблена в Нурали Латыпова, а он выиграл вчера со своей командой в «Что? Где? Когда?» (я пою название этой передачи как аккорд до-соль-до).

Аленка раскачивается на качелях – раскраснелась, тоненькие косички выбились из-под шапочки и радостно подпрыгивают. Фа-ре, – по-старчески скрипят качели, – фа-ре! «Зы́ко он вчера на последний вопрос ответил, скажи?» – это Аленка про Нурали своего. Фа-ре, – отвечают качели, – зыко, бры́ко! А мне Сергей Ильин нравится. У него голос – в него можно закутаться, как в мягкий теплый бархатный плед. И очки. Моя мама очки носит. Она и замуж за папу вышла из-за очков. Говорит, когда была молодая, ее чуть ли

не каждый день на свидания парни звали (мама говорить-то говорит, а сама на Галинку зыркает: мол, сидит сиднем – нет чтобы с парнями встречаться).

Ну, ходит мама на свидание разок – красота. А в другой раз нарочно в очках явится – парни «морду и воротят». А папа очков и не заметил, «морду не воротил». Даже не верится, что когда-то меж ними была любовь...

«Ты чего покраснела? – пищит Аленка. – Замерзла?» Я киваю головой – Аленка неуклюже спрыгивает с качелей, и мы летим к Лилии Григорьевне. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – пою я налету. Лилия Григорьевна встречает нас в пеньюарчике красного цвета, разбавленного кое-где пятнами неясного происхождения и следами от пепла – выжженными по краям, затвердевшими коркой дырочками. Ее синюшные ляжки, покрытые пупырышками (ляжки Лилии Григорьевны похожи на куриные, вот только куриные уж больно тощие и волосатые – и мы, прежде чем варить курицу, ошипываем ее и опаливаем на твердом горючем – вонь ужасная!), бесстыдно вываливаются наружу. «А, это вы, девочки? – Лилия Григорьевна изящно выпускает изо рта с черными зубами облачко дыма. Дым щекочет мои ноздри, я чихаю. – Будь здорова, Танюшка!» – и шатающей походкой направляется в комнату, где проходят наши занятия. Чего это она? Мы с Аленкой переглядываемся. Танюшка! Танюшкой меня называет только моя сестра Галинка. Сейчас она в Москве (папа путевку Га-

линке достал: она уже взрослая, ей 22 года), скорее бы вернулась! Я заказала ей заколки для волос – у меня непослушные кудрявые волосы, и мне надоело носить бантики. Это Аленка до сих пор таскает бантики, ей Лилия Емельяновна, а может, Иришка, вплетает ленточки в тонкие косицы.

Маленькая, совсем маленькая, когда Галинка уезжала куда-нибудь, я растопыривала руки, загораживала входную – и «выходную», ведь Галинка в нее выходит! – дверь и кричала надрывно: «Не пушú, не пушú!» («пушу» – это я так слово «пущу» говорила).

Мне казалось, что Галинка уезжала навсегда: ее не было так долго, что я успевала ее позабыть. И когда она возвращалась, загорелая, в обновках, привозила батончики с шоколадной начинкой, шоколадные медальки («Женихов искать пора, а она всё конфеты жрет», – цедила сквозь зубы мама), полиэтиленовые пакеты, на которых красовались Алла Пугачева и Демис Руссос (за пакеты с Пугачихой что хочешь можно было выменять – ни у кого из девчонок таких не было), шампунь «Яичный», черные капроновые колготки, – я смотрела на нее круглыми удивленными глазами, напевая про себя «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!», и не узнавала: неужели это моя Галинка? Ну а кто ж еще? «Маленький приехал, пухленький приехал!» – кричала я и тискала пухлую Галинку. «Опять жиры прославляют, халды чертовы!» – строжилась мама.

Не узнавала я и папу, который не только встречал загадоч-

ного москвича, но и сам ездил к нему (сам папа эти поездки называл «командировками по службе»), а также «вояжировал по всему Советскому Союзу, прощельга чертов, нет чтобы жену и детей свозить» (мамины слова).

Результатом этих «вояжей по службе» были многочисленные папины фотографии: он «скалил зубы» на фоне гор, морей, пляжей, водопадов, памятников, зимнего леса, пальм, Спасской башни, катка «Медео», – а под фотографиями красовались надписи: «Сухуми-63», «Батуми-64», «Москва-65», «Сочи-66», «Алма-Ата-67», «Москва-68», «Прага-68», «Минск-69», «Рига-70», «Геленжик-71», «Москва-72», «Баку-73», «Ессентуки-74», «Сочи-74», «Анапа-75», «Евпатория-76», «Трускавец-77», «Москва-78», «Юрмала-79». Но не только фотографии служили свидетельством папиных перемещений по карте нашей необъятной Родины – он вез мандарины из солнечной Абхазии, зефир (и мандарины, и зефир – коробками «по семьдесят кило, на горбу волок», – хвастался папа), глазированные сырки (мне доставалась изрядно потрепанная в полете слипшаяся сырково-шоколадная каша, которую я слизывала языком с упаковки), хрустящий картофель – всё это богатство из столицы, грецкие орехи, жевательную резинку «Лелек и Болек», козинаки и персики – с юга, яблоки апорт – из Алма-Аты, парики (папа привозил черные, белые, рыжие парики маме и ее сестрам), тушь (Галинке, маме, ее сестрам и их дочкам) – из северной столицы, мохеровые шарфы

(Галинке, маме, ее братьям, сестрам, их мужьям (женам) и их детям), духи «Дзинтарс» (Галинке, маме, ее сестрам и их дочкам) – из Риги, шерстяные пледы и коньяк – с Кавказа. Всё это он тщательно и с любовью упаковывал в «газетку» (и, разворачивая гостинцы, я читала «Советскую Белоруссию», «Казахстанскую правду», «Коммунист Таджикистана», «Радянську Україну»), потом клал свертки в большие целлофановые пакеты (мама потом стирала эти целлофановые пакеты хозяйственным мылом, и они, вместе с простынями и наволочками, сушились у нас в коридоре на большой бельевой веревке, прищепленные деревянными прищепками), целлофановые пакеты – в большие холщовые сумки, а сумки – уже в огромные чемоданы (папа представлялся мне эдаким Кошчем Бессмертным, душа которого завернута в «газетку»).

И когда он торжественно извлекал всё это «добро» на свет божий, напевая: «А здравствуй, милая моя! А ты откедова пришла?», – я прыгала от радости и хлопала в ладоши, а мама, примерив парик и мохеровый шарф, отведав козинак и яблоко апорт, сверяла сумму, выданную папе на расходы, со списком привезенных товаров (список покупок составлялся заранее: «Дуся, – кричала мама в трубку своей сестре и моей теть Дусе, – мой в Москву едет, прощельга чертов, тебе привезти чего?» – и ее рука не успевала за голосом теть Дуси: «Бюстгальтеры – четыре штуки, размер шестой, панталоны белые, с начесом, четыре штуки, размер 56–58, босоножки женские на манной каше, размер 40), мама сверяла сумму,

выданную папе на расходы, со списком привезенных товаров и их стоимостью (аккуратно, в столбик, мама записывала на бумажке (часто она использовала с этой целью форзацы брошюр из «Букиниста») наименования товара и его цену, затем подсчитывала, сколько денег папа истратил, – эта сумма никогда не говорила в пользу папы) и обиженным голосом произносила: «Где четырнадцать рублей, я тебя спрашиваю? – Папа «вертелся как вошь на гребешке». – Проще лыга чертов! Опять деньги промотал! Где четырнадцать рублей?..» Я забыла и мамино лицо, когда она как-то раз «бросила девчонку» («бросила девчонку» – это бабушка так сказала, когда строжилась на маму) и уехала в Кисловодск без меня. Вернулась она в розовом плаще и с огромной сумкой хурмы какого-то неведомого алого цвета: косточки в ее сладком спелом теле просвечивали, словно рыбки сквозь стекло аквариума. Я не узнала маму. И только когда она заплакала и поцеловала меня, я почувствовала родное прикосновение ее губ, ее дыхание... Мамочка!..

Я забывала даже предметы в собственном доме: детскую ложечку, чашечку с розовым слоником, желтого резинового поросенка-копилку с обгрызенным ушком, бархатную подушку-думку, расшитую бабушкиной рукой, – когда мы с мамой возвращались из Евпатории или из Трускавца. Мне казалось, кто-то их – мои вещи – подменил, переставил, пока нас не было дома. И еще запах: я забывала запах. И комната вдруг становилась маленькой, словно шкафчик, меньше,

чем была...

Комната Лилии Григорьевны укутана дымом, словно Париж серебристо-серым палантином. Слезы текут из моих глаз, я вот-вот чихну. Лилия Григорьевна, изящно отставив толстый, словно обрубленный, пальчик, наливает в бокал немного портвейна – я замечаю бутылку с тремя семерками, такую я видала у дядь Гены – лихо опрокидывает бокал в рот, закусывает яблоком. Тройной ее подбородок ходит ходуном, в такт жующим челюстям. «У? Хотите?» – она кивает на бутылку, тут же наливает бурое пойло в бокал, который по-хозяйски протирает пеньюарчиком, протягивает бокал мне. Я округляю и без того круглые глаза, машу головой – Лилия Григорьевна протягивает бокал Аленке, косички испуганной пигалицы дрожат мелкой дрожью. «Пойдем, – еле слышно пищит Аленка и тянет меня за краешек пальто: мы так и не разделись. – И никому ни слова». Мы медленно продвигаемся на выход. Лилия Григорьевна опрокидывает бокал, от которого мы с Аленкой отказались, в глотку, нюхает краешек пеньюарчика, икает. «Куда же вы, девочки? – плачет... да, плачет она! – А урок?» Мы остаемся.

Аленка забивается в угол, косички ее дрожат и плавятся в сизом дыму. Глаза мои наполнены слезами – и сквозь пелену этих слез доносится надломанный голос Лилии Григорьевны. «Мы ведь никогда не говорили по душам, – доносится голос. Косички Аленки дрожат и плавятся. Я открыла рот – и жадно глотаю словечки Лилии Григорьевны, а онираста-

ют в плотный дым, как изюм в нугу. – А знаете ли вы? Знаете ли вы? – вскрикивает Лилия Григорьевна, и я вижу перед собой маленького испуганного зяблика с красной грудкой, только Лилия Григорьевна щебечет на две октавы ниже. – Знаете ли вы, что я выпускница консерватории (Лилия Григорьевна говорит «консерватории», а мне слышится, «концэрватории»: моя бабушка называет консервы – «концэрвами», и в этом мне всегда слышится что-то музыкальное, я тогда еще понятия не имею, что эти слова родственные... как и все мы на земле...), я выпускница «концэрватории» по классу фортепиано? – Мы не знаем и молча внимаем Лилии Григорьевне: Аленка – тоненькие косички дрожат и плаваются – из своего уголка, я – держась за краешек пианино (Я чувствую себя юнгой на палубе: шторм, девятый вал – а юнга мужественно держится за мачту, пытаюсь пробраться к взбесившемуся штурвалу и спасти корабль, – юнгу я в кино видела, девятый вал у Айвазовского (папа набор открыток купил в «Букинисте», «Русские художники-маринисты», за две копейки; мне больше всего «Прощание Пушкина с морем» нравится: у Пушкина будто крылья за спиной – и он собирается улетать, а папа говорит, это не крылья, а туча: «понимала б что»). – Я училась у самого профессора Голь... (вечером я хватаю Большую советскую энциклопедию – вот, наконец-то: Гольденвейзер, Александр Борисович... профессор Московской консерватории, ух ты!) Голь... – Лилия Григорьевна икает, опрокидывает бокал портвейна, машет ру-



кой. – ...и вот торчу тут с вами... А ведь я... – Лилия Григорьевна садится за инструмент («струмент», говорит моя бабушка), швыряет тяжелые руки на клавиатуру, с трудом перетаскивает их с октавы на октаву. Девятый вал на клавиатуре, прощание Пушкина с морем! Таинственный тройной подбородок Лилии Григорьевны неистово штормит. Я тихонько пою: я узнала эту музыку, ее Владимир Софроницкий играет, Прелюдия до-диез минор Скрябина (папа пластинку откуда-то притащил старенькую, моно, там цифра «33», а рядом белый треугольничек вниз вершиной, Ленинградский завод, фирма «Мелодия»; пластинка шипит, скрипит, фыркает, но я тайком от мамы («опять звякает – мне завтра в шесть часов вставать») включаю проигрыватель – диск плывет, покачиваясь, словно баржа на воде, иголка, будто это спичка чиркает о коробок, касается черной звуковой дорожки, я закрываю глаза – музыка пропитывает меня, как чернила промокашку, до самых кончиков моих кудрявых волос («это она в дедушку Алешу, – улыбается бабушка, – на Карлу Маркса похож был, такой же кудлатый»). – Ты знаешь Скрябина, Танюша? – брови Лилии Григорьевны взмывают над оплывшими глазками, словно крылья большой лохматой птицы. Звуки стихают. Я киваю головой и краснею: Танюшей называет меня только папа, но это бывает так редко. А Скрябин... у него тоже музыка цветная, только цвета не такие, как у меня. – Деточка моя! – улыбается Лилия Григорьевна, оголяя десны, утыканые редкими черными зубами (когда Ли-

лия Григорьевна улыбается, или «лыбится», как говорит мой папа, мне кажется, что я вижу наш забор на даче). – Ты слышишь музыку? Ты слышишь? – она касается пальцем клавиши. «До», – пою я. Потом си, фа, соль-диез... – Да у тебя талант, дар! – Лилия Григорьевна снова икает, выливает из бутылки остатки бурого пойла в бокал, отшвыривает бутылку прочь, жадно пьет. – Знаешь, что? Я подготовлю тебя к поступлению в «консерваторию», хочешь? Мы с тобой... – она вертит головой по сторонам, словно бы потеряла что-то, замечает в углу крохотную Аленку, с дрожащими косичками. – Алёнк, сгоняй в гастроном, а? – она трясет пустой бутылкой. – Купи «Три семерки», только дядю взрослого или тетю попроси, поняла? И сдачу принеси! – Аленка, словно загипнотизированная, берет из рук Лилии Григорьевны смятую пятерку, уходит. – Танюша, я тебе скажу как большой художник – маленькому...»

Проходит час, или два, или три – я рассказываю Лилии Григорьевне о том, что я слышу мир, слышу шепоты и крики, шорохи и скрипы, дыхание и всхлипы, даже папин храп я слышу – и всё это музыка, и музыка эта везде, и музыка эта красная, белая, зеленая... И в тот момент, когда я пою Лилии Григорьевне: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – в комнату врываются моя мама, Лилия Емельяновна и Аленка. Оказывается, Аленка – отличница несчастная! – не смогла попросить никого из взрослых купить для Лилии Григорьевны «Три семерки», и пото-

му позвонила своей маме Лилии Емельяновне. «Мама, купи, пожалуйста, “Три семерки”, а то меня Лилия Григорьевна на урок не пустит!» – пищала Аленка в трубку телефона-автомата. «Какие “Три семерки”? – визжала Лилия Емельяновна на другом конце провода. – Иди немедленно домой!» В дверцу автомата постучали, Аленка коротко объяснила суть дела, Лилия Емельяновна позвонила моей маме...

«Алкашка чертова! – визжит теперь уже моя мама. – Тебе этот номер не пройдет. Я вот сообщу куда следует!» «Не надо, не надо сообщать куда следует! – я падаю перед мамой на колени. – Я буду хорошо учиться, хорошо себя вести, пожалуйста-а-а-а!» «Не предавай искусство, деточка!» – басит на прощание Лилия Григорьевна и, словно пустой мешок, валится на кровать.

Мы больше не ходим с Аленкой на музыку...

Зима. Я болею, утопая в кипенно-белых (и бабушка, и мама, и тетки говорят «кипельно-белых», а я по утрам слушаю «Радионяню», там про все на свете рассказывают, и про «кипенно-белый» тоже рассказывали: «Радионяня», «Радионяня», – есть такая передача! / «Радионяня», «Радионяня» – у неё одна задача: / Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, / Чтоб всем ребятам, / Всем трулялятам / Было веселей!» – распеваю я вместе с дядей Сашей и дядей Аликом, ем манную кашу и запиваю ее какао), я болею, утопая в кипенно-белых накрахмаленных простынях, словно в снегах, снега тают – я лежу вся мокрая. Я открываю

глаза с трудом, мои веки словно окна, которые освобождают от ваты и наклеенных лоскутов старой простыни, чтобы отмыть после зимы. Малиновый чай шевелит в стакане своими щупальцами, ложка разбухла и обросла пузырьками, строчки Виктора Голявкина (обожаю Голявкина, у меня книжка его есть, желтенькая такая, папа откуда-то принес) медленно проплывают мимо. Я проваливаюсь в сугроб из одеяла – и засыпаю. Одутловатое лицо Лилии Григорьевны вырастает из сна. «Не предавай искусство», – ее тройной подбородок раскачивается, словно метроном. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а! – шепчу я потрескавшимися, словно земля в пустыне, губами (я видела иссохшую потрескавшуюся землю в «Клубе путешественников» (разломанная шоколадка на вид), «Клуб» этот Юрий Сенкевич ведет, он похож на нашего соседа, дядь Сашу, милиционера, только дядь Саша противный, а Юрий Сенкевич нет (дядь Саша чуть что – грозит пальцем: «Смотри, Чудинова Таня, не будешь слушаться маму с папой, я тебя в участок сдам»), голова у дядь Саши круглая как каравай, жидкие масляные волосы зализаны кверху: лысину прикрывают, но она все равно просвечивает сквозь эти тщедушные попытки «скрыть очевидное» (дядь Саша сам так и говорит: «скрыть очевидное», рассказывая моей маме о том, как он на участке «порядок наводит»: «От меня, Нюрочка (это моя мама), – сверкает своим золотым зубом дядь Саша, очевидное не скроешь», – и подмигивает маме оплывшим глазком,

треплет меня по кудряшкам – я прячусь за мусоропроводом: не люблю я дядь Сашу, он напоминает мне слизняка); в подъезде – как войдешь – кто-то написал на стене мелом «Танька – дура, в лес подула, шишки ела – обалдела», и я боюсь, что дядь Саша прознает, что это обо мне написано, что это я дура, хоть в подъезде у нас две Таньки: я и Трифонова, я боюсь, что дядь Саша высунется из мусоропровода: «Смотри, Чудинова Таня, – и протянет своим приторным тенорком, – не будешь слушаться маму с папой, я всем расскажу, что это о тебе на стене написано «Танька дура!»), – Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – шепчу я потрескавшимися, словно шоколадная земля в пустыне, губами. «Не предавай искусство – я тебя в участок сдам», – слышу я хриплый прокуренный голос.

«А мы сегодня проходили, что такое литр, – пищит вечером – уже была докторша по вызову, я высовывала язык и пела «А-а! А-а!» («Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж», правда, докторше не пела) – пищит вечером в телефонную трубку Аленка. – Степанида Мишка (Степанида Мишка – это наша училка Степанида Михайловна, мы с Аленкой ее в шутку Мишкой зовем: «шары выпучит», как говорит моя мама, – на рыбу похожа, только рыба эта красит губы ярко-красной помадой, которую размазывает по подбородку), Степанида Мишка, такая, – пищит Аленка, – спрашивает: “Ребята, кто знает, что такое литр”. А Лёвка Бабашов, такой: “Я знаю, что такое пол-литра”.

Представляешь?» Я представляю «Три семерки», тройной подбородок Лилии Григорьевны, который разросся до доминантсептаккорда – и требует немедленного разрешения. «Mother! – кричу я (люблю иногда прихвастнуть, что знаю кое-какие английские словечки; помню, когда я впервые слово «mother» в английской книжке увидела – я прочла его «мóтхер»). – Ну пожалуйста, ну разреши мне ходить на музыку к Лилии Григорьевне!» «Ты когда перестанешь называть мать собачьими кличками?» – строжится мама, волосы ее отливают золотом, стеклышки очков вскипают. «Ну пожалуйста!» «Не пожалуйста! И чтобы я про эту алкашку чертову больше не слышала! Ты меня поняла?» А Аленка уже пищит снова: «А Борька Шива, представляешь: “Степанида Михаллна, а что такое коммунизм?” – говорит. («Это что за Шива такая?» – заинтересовался папа, когда я рассказала ему, кто со мной учится в первом классе «А», и проверил Борьку на «благонадежность» (у них там, в «кэгэбе», как-то проверяют), проверил и погрозил мне пальцем: «Вроде наш. Но смотри, если спросит: где, мол, твой папка работает? – отвечай: на заводе, ясно?»»)

«Степанида Мишка на минуту затихла, – пищит Аленка, – а потом и говорит вкрадчивым голосом: “Коммунизм – это... это... когда всё общее, и денег больше нет: можно взять всё что угодно просто так”. “Как в раю?” – Анька Шпакова ей, представляешь? (Анька эта Шпакова – крохотная, и крестик на шее носит, а мать ее в черном платке ходит всё время

и выражение лица у нее скорбное). Ну ладно, я тебе потом позвоню».

Я зарываюсь лицом в «сугроб». Когда ногами, словно парус, расправляешь алое одеялко, а за окном играет солнце, в алый цвет окрашивается пододеяльный мир, «моя пещера». Я теперь знаю о пещере Платона, мне о ней рассказал Паша, муж моей двоюродной сестры Любки, дочки дядь Гены, – он знает всё на свете! Мы гуляем с ним по леску и собираем грибы (у нас с дядь Геней дачи бок о бок – дачу эту я терпеть не могу: субботним утром, чуть свет, я сплю самым невинным сном, «посыпохиваю», как говорит моя бабушка, но мама будит меня: «вставай!» – я ныряю в мою «пещеру», но мама «разоблачает» меня: «вставай, кому говорю!» – и мы несемся на вокзал, мама и папа, словно «ишаки», тащат рюкзаки и ведра; «растуды его мать, опазываем!», кричит папа, «а кто всё утро бегал как бешеный таракан?», отвечает ему мама, – мы запрыгиваем в электричку, которая пахнет протухше-селедочной мутью, садимся на деревянные скамьи, которые папа застилает «газеткой», мама достает из сумки яйца вкрутую, помидоры, огурцы, черный хлеб и квас – и мы всё это едим и пьем под стук колес и мельтешение деревьев, мы выходим на станции «Паровозный» и под палющим солнцем, еле живые, высунув язык, плетемся почти пять километров по бездорожью (особенно я боюсь переходить мост: щели между досками такие большие, туда запросто может попасть моя нога в босоножке, а сам мост шата-

ется и урчит – и пока я иду, держась за перила, в животе моем тоже урчит и шатается); наконец, дом, сложенный из шпал – без окон, без дверей – в народе прозванный «Черным домом», появляется на горизонте: он стоит, словно ощерившийся скособоченный больной старик, и пялится на меня своими пустыми глазницами; он знает, что я его ненавижу – и потому встречает вечными сквозняками, капельками, которые свисают с потолка, подвальным тухлым запахом и комарами; мне не спится в его мертвом чреве, не мечтается; он гонит меня скорее прочь от себя: то дверь шибанет меня по боку, резко захлопнувшись, то ступенька западет, так что лечу носом в землю, а однажды он толкнул меня в бездонную бочку – туда стекает дождевая вода, ею мама поливает помидоры, огурцы и прочую викторию (ее люди почему-то называют клубникой, но какая же это клубника, за клубникой нужно ехать на полигон и, согнувшись в три погибели, собирать ее там под палящим солнцем, она мелкая, темно-красная и пряно-сладкая, виктория же большая, толстая и глупая, сама в рот прет), а однажды «Черный дом» толкнул меня в бездонную бочку, я полетала вниз головой и уже чувствовала себя настоящей русалкой, однако чудом спаслась – и даже после этого мама тащит меня за собой на Паровозный; «У людей дети как дети, – жалуется она невидимому собеседнику. – Вон Ленка Юдина (это соседская девчонка, противная и говорит «ложі» и «звбнит», вот дура), вон Ленка Юдина матери помогает: и грядочки прополет, и воды натаскает, и



облепиху соберет! – любо-дорого глядеть! – а эта... работать она мальчик, а есть мужичок!» – ну так пусть Ленка Юдина и собирает свою облепиху – мы лучше будем собирать с Пашей грибы).

И мы идем с Пашей по леску и собираем грибы (Паша найдет гриб, расчистит его и проходит мимо, будто не заметил, а я иду следом и кричу: «Паша, Паша, гриб!» – «Ну ты глянь, – удивляется Паша, – какая глазастая, а я и не приметил!»), солнце щекочет верхушки деревьев – те смеются мелкой дрожью, с веток спрыгивает радостный свет, разливается по лесу – и лес похож на «пещеру Платона», говорит Паша и рассказывает о том, что люди считают подлинными вещами тени, а ведь тени эти отбрасывает совсем другое, – я с замиранием сердца гляжу на свою тень, которая скачет по лесной тропинке, и думаю о том, что никто и не догадывается, что я – совсем другая! А пододеяльный мир, «моя пещера», озаряется алым закатным светом, потому что одеялко у меня алого цвета. И не видно, как я покраснела. Паша!.. Мы строгаем с ним доски. Я беру в руки самый настоящий рубанок, кладу доску на верстак, прищуриваю один глаз, как меня научил Михал Акимыч – Пашин папа – и вжик по доске, вжик – тоненькая золотистая стружка кучерявится у моих ног, вжик-вжик – целый ворох стружек, словно мои кудряшки, когда мама меня стрижет. Вот вырасту и выйду за Пашу замуж. У него кудрявые волосы, прямо как у меня, только светлые, и глаза голубые. Я, когда была совсем маленькая, очень хоте-

ла, чтобы у моей мамы были светлые волосы и голубые глаза, вот как у Людмилы Сенчиной (мы с Аленкой, когда играем в певич, воображаем себя: я – Людмилой Сенчиной, Аленка – Розой Рымбаевой; мы надеваем туфли Лилии Емельяновны «на выход», обматываемся шторами с длинными висюльками, красим губы красной помадой, берем в руки массажные щетки вместо микрофонов – и на сцену: сцену мы сооружаем из подушек для софы, сверху кладем большую доску, на которой Буяновы разделяют тесто, и покрывало с Аленкиной кровати), я так хотела, так хотела, чтобы у моей мамы были светлые волосы и голубые глаза, что частенько, когда мы шли по улице и мама крепко держала меня за руку, я, воспользовавшись тем, что она задумалась и ослабила хватку (наверное, в тот самый момент мама воображала себя не простой смертной), убегала в поисках «тети с белыми волосиками» и, завидев такую, радостно подбегала к ней, хватала ее за руку и шла рядом, будто это она моя мама («Какая хорошенькая девочка», – умилялась тетя, на что я тут же спрашивала: «Тетя, а у тебя глазки какого цвета?» – «Голубые» (или карие, или серые), – отвечала тетя. – «А у меня класные», – довольная, сообщала я (я тогда еще не знала слова «класные», я имела в виду слово «красные», и букву «р» я еще не выговаривала, потому что не долдонила деньденьской «триста тридцать три». – «А почему красные?» – удивлялась тетя, но тут мама хватала меня за руку («У людей дети как дети, а эта!») и тащила за собой).

А Паша... Вот вырасту и выйду за него замуж. А Любку (мама называет Любку «хивря пузатая»: «Такая молодая, – говорит мама, – а пузо свое распустит, вечно нечесаная – смотреть срамно!» – «Халда, – добавляет бабушка, – и мать ее (это жена дядь Гены) такая же халда, охомутила моего ребенка (это дядь Гену)!»), а Любку – «халду и хиврю» – Паша бросит. Правда, сколько еще жда-а-ать... Да и Сережка Морозов пишет мне из Саратова. «Здравствуй, Таня! – пишет Сережка. – Я живу хорошо. Мне купили новый вилоцикл. Как живешь ты? Как учишься? Кагда поедешь в трускавец?» – а внизу приписка: «Жду ответа как саловой лета». О боже, и с ним я целовалась! «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – пою я, а потом разбегаюсь и падаю на кровать! «Нажрутся отборных продуктов, – строжится мама, – энергию девать некуда!» С Аленкой о мальчишках не поговоришь: она влюблена в своего «что-гдекогдашнего» Нурали и слышать не хочет ни о каком Сережке, а тем более о Паше. «Ну да, Таня!» – пропищала и надулась эта пигалица – косички подпрыгнули от злости, – когда я толкнула ее в бок: гляди, мол, что в аптеке продается (а продавались презервативы, аккуратненько разложенные в витрине, такие резиновые кругляши, на пальчики похожи, по две копейки штука).

С Галинкой же говорить совестно. «Примет форму кресла и сидит, корова, конфеты жрет, – строжится мама, – нет чтобы с парнями встречаться. Двадцать четвертый год vise,

а она всё девчонку бузывает!» Галинка краснеет, смотрит на маму и на меня исподлобья («У, волчина проклятая», – говорит обычно мама).

Что такое «виса», я не знаю, но я краснею вместе с Галинкой. «Эта маленькая, – тычет в меня пальцем мама, – а и то уж перед мальчишками задом крутит, а эта сидит».

Ох уж эти мальчишки... Помню, мне шесть, на улице мороз («А на улице мороз, щиплет уши, щиплет нос!» – любит напевать папа), надо вставать в садик, а я нежусь в тепленькой постельке – и папа, опаздывая на работу в «кэгэбу», «бегаёт как бешеный таракан» («бешеный таракан» – это мама так говорит), пытаюсь меня растормошить, – я висну у него на руках и досматриваю сон: снится мне, что Брыськин и Горобец – они мне нравятся оба, только я вот не выбрала еще, который больше: Брыськин – смешнее, у него низкий голос с хрипотцой, а Горобец – красивее, с римским профилем (я видела римский профиль в одной брошюре: папа купил в «Букинисте»), снится мне, что Брыськин с Горобцом по очереди поднимают меня на руки, подбрасывают вверх – звездное небо, дух захватывает... «Вся в отца, такая же шалавая», – щелкает меня по затылку мама. «Хоть в садик не води! – жалуется она бабушке. – У людей дети как дети, а эта... Не кормят ее, что ли?» Мы с Никиткой Зайцевым таскаем хлеб. Черные и белые ломтики лежат на огромных разносах: бери не хочу. Прямо над моей головой висит плакат «Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб драгоценность, им не со-

ри». Мы стучим ложками по тарелкам, а потом отправляемся спать. У меня и у Никитки под майками ломтики хлеба, они выпирают, словно ребра. И как только Вера Николаевна (Вера Николаевна Великжанина – наша воспитательница) выходит из спальни, прочитав нам сказку, Никитка забирается ко мне под одеяло – и мы уплетаем хлеб, будто «с голодного мыса» (про «голодный мыс» говорит моя мама, и когда я была совсем маленькая, я думала, что такой мыс есть на карте).

Вера Николаевна нас рассекретила – и мы стоим перед одноклассниками-подготовишками в одних маечках, стыдливо пряча глаза. А подготовишки, лежа на своих раскладушках, тихонько хихикают.

Теперь я хожу в школу, Брыськин с Горобцом мне больше не снятся, но папа по-прежнему «бегает как бешеный таракан», пытаюсь меня растормошить. Я продираю глаза, капитанские звезды врезаются в мой слипшийся мозг, словно в погон, чистые, только недавно обмывали (папа клал звездочки в стопку, наливал туда водки, тщательно всё взбалтывал, говорил «ну, понеслась» и выпивал водку – звездочки мерцали на дне),

Рыжов с Хохриным (Рыжов и Хохрин – папины начальники, не простые смертные, правда, звезд на погонах у них меньше, чем у папы; папа подкладывает им окорочок и буженинку, восторженно заглядывает в глаза – «Лизоблюд чертов», – шепчет мама и отворачивается; «Изоблюд», – нароч-

но передразнивает маму папа, когда она так его называет: знает, что это ее злит), Рыжов с Хохриным, пропустив по стопочке и закусив окорочком и буженинкой, ласково смотрят на меня и говорят: «Теперь тебе надо учиться хорошо, Таня, – говорит Рыжов. – Чтобы не подвести своего папу», – поддакивает Хохрин (папа говорит, что Хохрин младше Рыжова по званию, и потому поддакивает ему во всем).

«А я хорошо учусь!» – выкрикиваю я и опускаю глаза: поведение у меня хромает – так говорит наша училка Степанида Мишка (я представляю, будто у поведения есть ноги, а то и костыль) и карябает мой дневник своим ворчащим красным пером: «Конфликтует с мальчиками» («конфликтую» я с Мишкой Захарчуком, «Заходером», дурак, вечно плюется из трубочки жеваными бумажками, а они застревают в моих кудряшках и сидят там, словно птенцы в гнездах, и с Андрюшкой Герасимовым, «Гéрисом», который дразнит меня Чудой-Юдой: «чуда» мне нравится, а вот «юда» не очень), «Поет на уроках» (я «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» пою совсем тихо, но Степанида Мишка: «Чудинова, – говорит, – я всё слышу!»), – и я боюсь, что сейчас Рыжов с Хохриным скоман্দуют «Чудинова, дневник!», как мой брат Вовка, сынок дядь Гены: он, когда приходит к нам в гости, начинает выпендриваться: «покажь, мол, дневник» – и «жрет в три горла, засрапец, хоть бы спасибо сказал» (моя мама еще и не такое про Вовку говорит: как-то раз она ему крикнула в спину «жлоб»,

а папа поддакнул: «здоровый лоб» – и обрадовался: «ну надо же... жлоб – здоровый лоб... прям стихи!»), и лицо у него всегда красное, оспинами изрыто, на шмат колбасы с салом похоже, они с Галинкой закрываются в детской комнате и не пускают меня к себе, а я долблюсь что есть сил в дверь, а потом Вовка выглянет: «Покажешь дневник – пуцу!» – и снова за дверь (вашему Вовке «кайло бы в руки», как говорит мой папа, «я бы посмотрел на него»). «А я хорошо учусь!» – выкрикиваю я. Рыжов с Хохриным пропускают по стопочке, закусывают («Вот угорёк копченый», – папа покорно склоняет голову), утирают лоснящиеся губищи волосатыми кулаками (у Рыжова кулаки обросли черными колючками, у Хохрина – рыжим пухом), икают. «Молодец, – говорят Рыжов с Хохриным, – так держать!» «У меня на этой неделе пять звездочек!» – снова выкрикиваю я (Степанида Мишка кладет за обложки тетрадей красные звездочки за отличные оценки). «Ишь ты, папку обогнала! – Рыжов с Хохриным кивают на четыре звездочки, которые светят своим капитанским светом со дна стопки. – Ну что, пять звездочек надо обмыть!» Рыжов с Хохриным выпивают, закусывают, утирают губы, икают. «И я, когда вырасту, – выкрикиваю я все громче и громче, – вступлю в партию!» Мама выводит меня из-за стола. «И коммунистом стану, как папа!» «Коммунист! – морщится мама, волоча меня по коридору и заталкивая в детскую комнату – я упираюсь. – Прощельга чертов! Только и знает москвича поить да жопы этим... – мама

сплевывает словечко, выдыхает, – лизать! «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – даже не пою, кричу я, пытаюсь выломать запертую дверь. Я хочу, чтобы Рыжов с Хохриным услышали, как я пою, чтобы они всплеснули руками: «Да она поет, как Дин Рид, или даже как Виктор Хара (нам Степанида Мишка про Хару рассказывала на политинформации: «Альвандор Сальенде (так она называла Сальвадора Альенде – но я пока не знала, кто это такой) и Виктор Хара были истинными коммунистами и друзьями советского народа, а Паночет (так она называла Пиночета, которого я тоже пока не знала) – врагом и антикоммунистом. И поэтому паночетовцы убили наших друзей» (несколько девчонок даже заплакали, а мы с Аленкой поклялись вступить в партию и биться с врагами советского народа до последней капли крови)).

Да она поет, как Виктор Хара! – закричали бы Рыжов с Хохриным. – Такие люди партии нужны!» «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – отчаянно кричу я из-за двери: мне кажется, я в застенках. Но Рыжов с Хохриным выпивают, закусывают, утирают губищи волосатыми кулаками, икают. И не обращают на мой Париж, на мою большую терцию никакого внимания. «Не предавай искусство, деточка!» – Лилия Григорьевна выпивает, закусывает, утирает губы волосатым кулаком, икает – на дне стопки мерцают своим капитанским светом звездочки, и я слышу, как они поют тоненькими голосами «Париж-Па-



риж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» До-ми. Большая терция.

Мы с Аленкой больше не ходим к Лилии Григорьевне, «не выбрасываем деньги псу под хвост», мама запретила мне даже «заикаться об этой алкашке чертовой»: «бессовестная, сверкала перед детьми своими цылдами!» – но слышать этот мир и петь его: петь сердитую дверь в нашем подъезде – она скрипит на ре-си и хлопает на фа, петь качели, которые взлетают на соль, а приземляются на до, петь бутылки с молоком, которые чокаются в авоське на ля-фа, ля-фа, петь визжащую на си-си-соль диез машину старшеклассника Валерки Варнавина, петь гавканье на фа-фа Пика, подбирающегося к заветному половику, под которым схоронено сливочное масло, – слышать и петь этот мир не в силах запретить мне ни мама, ни папа, ни Степанида Мишка, ни даже дядь Саша-милиционер.

Уже после дня рождения (мы с Аленкой обе апрельские, только я на пять дней старше, и потому мне первой пришлось раздавать конфеты всему классу: по одной шоколадной и одной сосательной конфетке; «Эти Буяновы, вот гниды хитрожопые, “Дунькину радость” купили и батончики копеечные, а мы из Трускавца перли деликатесные конфеты, чтобы этих оглоедов (моих одноклассников) кормить! И чтобы твоей ноги у них в доме больше не было, слышишь? – строжилась мама. – Какие-то рюмочки пластмассовые девочке (это мне) подарили! Это они на что намекают, а? – ма-

ма хватала рюмочки, которые Аленка подарила мне на день рождения, и шваркала их об пол – рюмочкам хоть бы хны: пластмассовые! – Мы им куклу за три рубля купили! За три рубля! – мама поднимала палец. – Семейка проклятая!»), уже после дня рождения мы с Аленкой (а я ходила к Буяновым, обеими ногами ходила: разве можно дружбу измерить рюмочками или трехрублевыми куклами?), мы с Аленкой пошли к Лилии Григорьевне. Купили вафельный торт за пятьдесят копеек (мы с Аленкой копим деньги: я в коробочку из-под конфет «Птичье молоко», Аленка – в коробочку из-под сливочной колбаски: бедняжка, она, наверное, и «Птичьего молока-то» не пробовала, туго живется простым смертным).

Пошли, а тут дождь! И хлещет своими длинными розгами по асфальту, по земле, по крышам домов, словно бы те провинились и теперь надрываются: до-ми-соль-си бемоль, до-ми-соль-си бемоль! Мы прячемся в заброшенном доме и прыгаем на кровати с панцирной сеткой. Она по-старчески ворчит ля-си, ля-си. Пигалица Аленка робко раскачивается, готовясь к прыжку. «Выступает Елена Вайцеховская», – объявляю я. «А кто это?» – тормозит Аленка. «Прыгунья, – говорю я. – В воду». «А почему в воду?» – Аленкины косички взлетают. «Так дождь ведь!» «Ну да, Таня!» – фыркает Аленка: отличница, а ничего не знает! Я вот знаю всех советских спортсменов, потому что с самого детства болею. Мама говорит, мне было месяцев шесть: мы жили в крохотной

однокомнатной квартирке, папа смотрел суперсерию СССР – Канада, а я трясла кроватку и выламывала прутья, когда Фил Эспозито появлялся на льду. Я закрываю глаза, подхожу к краю помоста, отталкиваюсь, прыжок... Зал взрывается аплодисментами, дождь неистовствует: браво, браво! До-ми-соль-си бемоль, до-ми-соль-си бемоль!..

Дождь кончается: ля-фа-фа-фа. В подъезде у Лилии Григорьевны темно: кто-то выкрутил лампочку. Мы крадемся по лестнице, словно воры, нашариваем звонок входной двери. «Кто? – спрашивает незнакомый женский голос. «Это мы», – пищит Аленка. «Кто “мы”?» – голос повышается. «А Лилия Григорьевна дома?» – набираюсь смелости я. «Тут такие не проживают», – голос удаляется. «А... Изольда Григорьевна? – шепчу я, пугаясь сама себя. Голос не отвечает. – А Изольда Григорьевна?» – отчаянно кричу я. «Я сейчас милиционера позову, они вам покажут и Лилию Григорьевну, и Изольду Григорьевну, хулиганье!» Мы с Аленкой скатываемся вниз. «А может, мы квартиру перепутали? – Аленкины косички дрожат. – Или подъезд не тот?» Я мотаю головой: и дом, и квартира, и подъезд – всё то. Мы пытаемся разломать на кусочки вафельный торт – ядреный, не поддается. Тогда мы вгрызаемся в его чумазое тело: я с одной стороны, Аленка с другой – торт крошится, хрустит на зубах. «А вдруг улица не та?» – Аленкины косички взлетают. Мы бежим к табличке с названием улицы – та... Из подъезда выходит какой-то дедушка с длинным носом и громко сморка-

ется. «Скажите, пожалуйста, а это улица Гоголя, дом 188, квартира 3?» – пищит Аленка. «Апчхи! – говорит бабушка. – Ну Гоголя. А вам какого рожна надо?» («рожна́» – так говорит моя бабушка.)

«Мы ищем Лилию Григорьевну. Она вот в этой квартире живет», – кричу я и тычу пальцем в окна Лилии Григорьевны. «А вы из какой школы?» – сморкается бабушка. «Из 96-й», – пищит Аленка. И не соврет ведь!

Отличница несчастная, пионеркой стать хочет. «Пионер всегда говорит правду! – радостно сообщает нам Степанида Мишка. – Пионер – всем ребятам пример!» Но я-то не говорю правду, я-то скрываю, что папа работает в «кэгэбе», что он, а значит, и я, не простые смертные! «Пап, – пристаю я словно банный лист, – а вдруг меня будут пытаться – и я расскажу, что ты работаешь в «кэгэбе», а?» «Я тебе расскажу», – цыкает папа. А мой внутренний голос напевает: «Расскажи-расскажи! И тогда ты станешь простой смертной! Забудешь вкус “Восточных сладостей” из синей жестяной коробки! Вкус волшебной воды “Нафтуся”! Ты больше никогда не поедешь в Трускавец, а если и поедешь, то не в кэгэбэшный санаторий, а дикарем! Ты перестанешь пользоваться нежной туалетной бумагой! А когда заболеешь, пойдешь не в кэгэбэшную санчасть, а в районную поликлинику и будешь сидеть в очереди два часа...» Я закрываю рот ладошкой, чтобы он не вылетел наружу, этот внутренний голос. В конце концов, в пионеры будут принимать еще не скоро, побуду по-

ка не простой смертной. «Малявки», – дразнит нас с Аленкой наша тонконогая соседка Жанка Тальман (нам с Аленкой безумно нравится это имя – Жанка Тальман (у Жанки папа то ли немец, то ли швед – в общем, «оттуда», и одно время мы обе даже хотели, чтобы нас звали так же: Жанка Тальман и Жанка Тальман! – но потом подумали: а как же нас будут различать? – и решили остаться как есть: Аленой Буяновой и Таней Чудиновой), накручивая на палец кончик ярко-рыжего пионерского галстука. Она старше нас на два года, и ее недавно приняли в пионеры. «Жан, – восхищенно пищит Аленка, – а дай галстук поносить!» «Ага, полáй! – огрызается тонконогая Жанка. – Ты что, дура, что ли? – Жанка подкручивает пальцем у виска. – Ты вообще знаешь, кто такой пионер?» «Нет! – прикидываюсь я дурочкой с переулочка. – Кто?» «Пионер, – воображает Жанка, надувая губки и пожимая остренькими плечиками, – должен быть первым в учебе, спорте и общественной жизни. Пионер, – тараторит Жанка и загибает пальчик за пальчиком, – должен быть отличным учеником, образцовым товарищем и должен вести себя примерно и в школе и дома. Пионер должен быть всегда честен, вежлив и аккуратен. Пионер должен быть достойным продолжателем дела Павлика Морозова, Володи Дубинина и Марата Казея. Пионер должен быть верен делу Ленина, слушаться старших и собирать металлолом. Пионер должен уметь хранить военную тайну. Пионер должен быть примером для октябрят. Пионер – будущий комсомолец. Ясно,

малявки?» – Жанка смеется, дрыгает тонкой ногой и смотрит на нас свысока, хоть я в сто раз выше этой тонконожки. «Ура, – думаю я, а сама закрываю рот ладошкой, чтобы словцо – не дай боже – не выскочило наружу, – пионер-то, оказывается, должен уметь хранить военную тайну!» «Пап, – снова пристаю я к папе, – а вот то, что ты работаешь в «кэгэбе», – это военная тайна?» «Военная», – отмахивается папа. «Прощельга чертов! – строжится мама. – Ребенка бы постыдился: “тайна”. Только и знаешь водку жрать с москвичом!»

«А вы из какой школы?» – сморкается приставучий дедушка. «Из 96-й», – пищит отличница Аленка. «А-а, – кивает головой дедушка. – А вы часом не мукулатуру (дедушка так и говорит: «мукулатуру») собираете? А то у меня полон подвал барахла». «Пионер должен быть верен делу Ленина, слушаться старших и собирать металлолом», – всплывают в моей памяти слова тонконожки Жанки Тальман. «Нет, – пищит Аленка, – мы Лилию Григорьевну ищем. Вон в той квартире живет», – Аленка тычет пальчиком в окно Лилии Григорьевны. Занавеска подозрительно колышется. «А я вот сейчас в милицию позвоню! – просовывается в форточку чья-то сморщенная мордочка (мы с Аленкой переглядываемся: на кого же эта мордочка похожа... похож? – да на проверяющего, точно: газ у Лилии Григорьевны проверял!). – Ходят тут всякие!» Занавеска задвигается. Финита ля комедия!

Финита ля комедия, комедия окончена – так говорит Олег

Даль... Недавно спектакль по телеку показывали, необыкновенный спектакль, я таких пока не видела, а я уже взрослая (да, взрослая, правда, мама постоянно твердит: у тебя молоко на губах не обсохло, слушай, что говорят старшие, – а сама иной раз такое несет...), так вот я уже взрослая, мне уже восемь, между прочим, – нас Степанида Мишка часто в театры водит, на всякую детскую «муть с жутью», как говорит моя мама, и я громко смеюсь («Чудинова, я всё родителям скажу, бессовестная!» – грозно шепчет Степанида Мишка), я хохочу в голос, когда толстая старая тетка в белом парике играет Золушку или Принцессу, когда Разбойник с тощими ногами и накладной бородой почему-то очень громко кричит и тычет пальцем в зрительный зал: «Ребята, куда она (Золушка или Принцесса) побежала?», а наши девчонки (Кузя, Тимошка, Мошка), вот малышня, кричат: «Туда, туда!» – и тычут пальцами в другую сторону. Мы с Аленкой всегда садимся с краю, чтобы в антракте сорваться с места, первыми влететь в буфет и вдоволь наесться пирожных (я обожаю такие трубочки, с кремом!) и мороженого (в такой вазочке, с ножкой), напиток молочного коктейля, газировки (мы с Аленкой обожаем газировку за три копейки из автомата) и сока (сок продается в таких конусообразных стеклянных колбах).

Как-то раз я умудрилась проесть целых три рубля: мама дала мне три рубля, по ошибке дала, и про сдачу не сказала. «Три рубля! – кричала она уже после того, как я вернулась из

театра. – Я дала тебе три рубля! Где сдача?» «Нет сдачи», – отвечала я, утирая липкие губы кулачком. «Как это нет? – мамыны бровки перемахивали через оправу очков. – Опять эту Буянову кормила?» «Никого я не кормила! – била я себя в грудь кулаком. – Я съела восемь пирожных!» Мама выпучила глаза, так что стеклышки ее очков закипели, золотая корона волос запылала: мама была похожа на вулкан, извергающий лаву. Папа хихикнул: «Хм, восемь пирожных! Даже я себе не могу позволить съесть восемь пирожных. Это ж кило мясца! Н-да! – папа призадумался. – Поллитра... Н-да!» «В театр больше не пойдешь! Поняла?» – отрезала мама. Я ликовала. «Финита ля комедия, комедия окончена», – так говорит Олег Даль: я просто влюбилась в него. Он глянул прямо с экрана – на меня. И глаза у него... «Черт тощий», – чихнула моя мама, подошла к телевизору и только хотела переключить на другую программу, как я закричала на соль-соль-соль – звонко, протяжно! – «Не надо! – закричала я. – Не переключай!» (соль-соль-соль-соль). Комната окрасилась в зеленый цвет, Олег Даль снова посмотрел прямо на меня – у меня зашло сердце – и выстрелил в Андрея Миронова (в Андрея Миронова все наши девчонки влюблены, но они думают, что он играет только в комедиях и вообще не актер!) – я вздрогнула. «Чеканукнутая, – мама подкрутила у виска, – орет как сивый мерин». Зазвонил телефон, мама вышла из комнаты («Не знаю, что с ней делать, с этой хиврей, прет как на дрожжах, а ума нет, совсем от рук отбилась!») – плакала



мама, и ее слезы затекали в телефонную трубку и текли по проводу прямо к моей тете, какой-то маминой сестре).

Я сидела, словно мне дали дубиной по голове, вперившись в маленький экран «Изумруда», словно это не в Грушницкого, а в меня выстрелил Печорин, Олег Даль, и погибала... Вот так же я закричала соль-соль-соль («Не надо!»), когда мама в другой раз пыталась погасить «изумрудный» экран. Никого не было в комнате – я включила телевизор и увидела, как какой-то мальчик включает телевизор. Мне стало страшно: а вдруг это я на экране?.. Потом начался фильм. И возникла надпись на экране – «Зеркало». И тут мама решила погасить изумрудный экран. Я закричала соль-соль-соль! Сначала я пыталась заглянуть в маленький «изумрудный» экран, словно в зеркало. А потом чую: это они – все эти странные люди на экране – они смотрятся в меня, словно это я – зеркало! «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – дрожали мои губки. А оттуда, из зеркала, на меня лилась музыка! Я не могла поймать ее. Я чувствовала, что меня засасывает туда, в эту музыку, как в воронку, я уже крутилась в этой воронке, я хватала губами воздух, я искала глазами кого-то... Мама... «Матери бы помогла, бессовестная! Или вон уроки иди делай!» – мама снова пыталась погасить экран. Ее розовый халат, словно занавес, скрыл от меня изображение – прекрасную Мадонну (я не знала тогда ни Леонардо, ни Баха, но я стала искать их отзвуки, отблески в этом мире, прислушиваться, присматри-

ваться к каждому звуку, к каждому изображению).

Зеркало погасло. Я молча сидела в кресле, уставившись в темный экран. Мама громко говорила, размахивала руками. «У людей дети как дети, – говорила она. – А эти... коровы проклятые! Только и знают жрать отборные продукты! Нет чтобы матери помочь! Недоедаю, недопиваю – всё им, всё им! Неблагодарные! И этот, прощельга, где-то шлындает...» Мама заплакала. И вдруг «Изумруд» зажегся! Я уставилась в экран. «Да идите вы все к черту!» – крикнула мама и вышла из комнаты.

«Ты фильм вчера смотрела?» – спрашиваю я у Аленки на следующее утро. Понедельник, зима, мы идем в школу, ловим языком крупные снежинки, а у меня треснула губа – кровь, и я похожа на ту девочку, из «Зеркала». «Какой? – пищит Аленка. – До программы “Время” или после?» До «Времени» фильм обычно показывают по первой программе, а после – по второй. Я пожимаю плечами: «А “Времени” не было...» «Как это не было?» – пищит Аленка и подкручивает у виска: мол, совсем уже. А я думаю: «Времени» не было... это другого, другого времени не было! Но я ничего не говорю Аленке, а просто тихонько пытаюсь поймать мелодию, которая залетела ко мне вчера: ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... «Мы вчера весь день пельмени лепили», – пищит Аленка, слизывая с губ большую снежинку.

«Мукулатуру брать будете?» – приставучий дедушка снова громко сморкается и утирает свой длинный нос. Мой па-

па макулатуру собирает. И сдает ее в пункты вторсырья. Это его страсть. Такая же, как покупать уцененные товары в комиссионных магазинах, брошюры в «Букинисте», обрезанные яблоки на базаре, приносить с помойки сломанные стулья и торшеры, коробки и самовары. За старые газеты и бумаги ему дают Жюль Верна, Фенимора Купера, Александра Дюма и рулоны туалетной бумаги серого цвета. Папа ставит книги на полки – и они стоят, новенькие, со склеенными страничками, стоят и пахнут типографской краской, ждут, пока я вырасту и прочту их – а я вырасту и прочту, я уже читаю, взрослые книги читаю, тихонько, чтобы мама с папой не видели, под кроватью, с фонариком. «Ни одной книги не прочел, прощельга! – ворчит мама, осматривая очередную папину «макулатурную» добычу. – И всё тащит, тащит, как крыса. Мало тебе?» «Не трожь! – кричит папа, выхватывает из маминых рук книгу, бережно ставит ее на полку. «Будете брать мукулатуру, я вас спрашиваю? А то пионерам отдам», – дедушка машет руками, изображая пионерский салют. «Мы скажем учительнице, – выкрикивает Аленка, – и всем классом придем». «Лады, – чихает дедушка, – а теперь дуйте отсюда». Мы с Аленкой переглядываемся: темнит дед, ох темнит! Дуем – и вдруг Аленка пищит: «А давай – пищит Аленка, – попросим твоего папу найти Лилию Григорьевну». Я краснею и гляжу на эту пигалицу исподлобья: «А чё это мой папа будет ее искать?» «Так он же в «кэгэбе» работает», – хихикает Аленка. «В какой еще “кэгэбе”? Нигде

он не работает!» Всё, папка, попал ты в капкан (Когда меня еще не было, а Галинка была маленькая, а папа уже работал в «кэгэбе», он оказался в вытрезвителе: тогда еще никакого москвича, которого папа «поил, прощельга!», и в поиме не было, папа просто «залил шары» – и утром, вернувшись из вытрезвителя, еле слышно прошептал маме, которая «всю ночь глаз не сомкнула, прощельга ты чертов!»: «Всё, Нюра, – прошептал папа и потупил взор, – попал я в капкан, теперь попрут из органов («кэгэба» еще «органами» называется, только я вот никак не могу понять, что это за организм такой!))»!

Финита ля комедия! «Ну да, Таня!» – Аленка щурит глаза и поджимает губу. Я прибавляю шагу. Аленка не отстает. «Откуда ты знаешь?» – резко торможу я, лицо пылает, дышу, будто меня накачивают насосом. «Да все знают», – пожимает плечами Аленка. Я снова прибавляю шагу. «Подумаешь! – кричит мне в спину пигалица Аленка, которая не успевает за мной. – Очень надо!»

Мы с Аленкой не разговариваем. В школу вместе не ходим. В классе сидим буками и делаем вид, что не знаем друг друга. И только Пик ни о чем не догадывается и, когда встречает меня на улице, весело гавкает на фа-фа и берет у меня с ладони «Докторскую» «колбаску». «Чё это, с Буяновой-то поссорились, что ли? – ехидничает мама. Я молчу. – И правильно, – говорит мама, – нечего тебе у них делать. Хитрые, черти. Отборными продуктами ее тут кормили, куклу за три

рубля купили, – я выбегаю из комнаты, мама кричит мне в спину, – а они...» Но я ее не слышу: я уткнулась носом в подушку и плачу! Пусть они хитрые, пусть Аленкина мама Лилия Емельяновна болтает про меня всякую «муть с жутью»: «Она разбила чехословацкую хрустальную вазу, она громко кричит: на нее жалуются соседи, она надевает без спроса мои туфли на выход!», пусть Иришка своим ползучим голоском ябедничает Степаниде Мишке: «А Таня Чудинова отвлекает нашу Алену от занятий», – пусть! Я всё равно люблю Аленку, люблю Буяновых, и мне очень одиноко без них! Я несколько раз набираю номер буяновского телефона, пару раз трубку берет Лилия Емельяновна, пару – Иришка и один раз – Аленка! Кровь стучит в моих висках, я бросаю трубку, точно бомбу, и отпрыгиваю от полки, на которой стоит наш красный телефон. Я несколько раз подбегаю к дребезжащему телефону с молчащей трубкой: пару раз молчат, потом просят прощения за то, что, кажется, не туда попали, пару раз молчит Ромка Бальцер, который в меня влюблен: молчит, сопит, а потом включает пластинку с песней Владимира Высоцкого «Она была в Париже» (в другой раз, услышав любимый голос, я бы с ума сошла: Высоцкий, да еще и Париж! – но сейчас я грущу по Аленке, и даже Высоцкий мне не Высоцкий и Париж не Париж), глупый Ромка, рыжий, маленький, злой, и червячки в глазах будто ползают туда-сюда, туда-сюда – знал бы ты, что у нас есть все записи Высоцкого (Папа не где-нибудь там работает – в «кэзэбе», а там есть всё, даже

записи Высоцкого – и мы с Галинкой включаем наш любимый магнитофон «Весна-306» (ни у кого из девчонок такого нет!), кидаем ему в пасть вкусную кассету – и оттуда несется «Протопи ты мне баньку по-белому», «Ой, Вань, гляди, какие клоуны», «А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг», папа заглядывает в нашу комнату: «Потише сделайте! И чтобы никому, ясно? Спросят: а какие это папка с работы записи принес? – говорите: Йосю Кобзона. Поняли?»).

И один раз, только один раз, кажется, звонит Аленка – это она, я узнаю ее сопение, ее дыхание: она всегда вздыхает, прямо как моя бабушка (бабушка крестит рот и говорит «Господи, помилуй!», а Аленка нет, она просто вздыхает, без Господа, мы же октябрюта, в пионеры собираемся вступать, в комсомол, в партию, а тут «Господи, помилуй»; когда кто-нибудь говорит «Господи», мы смеемся: «Не Господи, а Советская власть!»... но если честно, я и сама его поминаю, Господа, бабушка меня научила, и креститься меня тоже научила бабушка, но только папе я об этом никогда в жизни не скажу, ни-ни: он коммунист, он работает в «кэгэбе», и «Господь тебя покарает, антихрист» (как говорит моя бабушка)), и трубка вздыхает, но тут же принимается пищать... совсем как Аленка...

Июнь. Каникулы. Мы так и не помирились. Я снова увидела Пика: он радостно бросился ко мне и «облобызал» своими грязными лапами, но Лилия Емельяновна цыкнула с балкона: «Пик, а ну домой! Сейчас же!» Пик виновато глянул

на меня: прости, мол, сама понимаешь! – махнул хвостиком и поплелся к подъезду. И больше ни-ни... Каникулы. Июнь. Аленка уехала в пионерлагерь, мы с мамой – в профилакторий (утром маму увозит на работу автобус, а вечером привозит обратно: лечиться и отдыхать «от семейки этой чёртовой» – то есть от нашей семейки), у Галинки сессия, папа – в Москве: для простых смертных она закрыта, Москва, – Олимпиада ведь скоро начинается! – но не для папы: он едет «пить с москвичом, прощелыга чертов; все люди с семьями, а я одна как проклятая, да еще с этим довесочком (довесочек – это я)».

В том году мы уже были с мамой в профилактории (папа тогда ездил в Юрмалу – не знаю, правда, поил ли он там какого-нибудь юрмальца).

Я купалась в Бердском заливе, ходила в зимний сад, смотрела на рыб, которые тыкались своими мордами в толстое стекло аквариума, ела кислородный коктейль. На завтрак каждое утро профилакторцам давали по полстакана сметаны. Те, кто не съедал сметану, не могли выпить какао или кофе с молоком (какао или кофе наливали в алюминиевый чайник, на крышке которого красовался номер, написанный красной краской), потому что другого стакана не было. Так что приходилось буквально вылизывать эту несчастную сметану («Кефиром разбавляют, паразиты», – ворчала мама), а затем наливать в опустошенную посуду жиденький кофе с молоком или какао. Перед самым отъездом «Лилька» Мо-

чалина (опять Лилька, да что ж такое! – Лилька эта с мамой работает: мосластая тетка с громким визгливым голосом) подготовила «поэтический монтаж». Мы с девчонками и мальчишками должны были читать стишки, которые она насочиняла. Женька Мадин по кличке Жиртрест промямлил: «Душ, уколы принимаем, в баньке веничком махаем. / Зубки наши засверкали: килограммы мы набрали». Тетки в зале просто зашлись смехом, а Лилька – в платье с вырезом («Швабра чертова, мослами своими сверкает», – фыркнула мама) – светилась от счастья, тем более что к ней все время приставал «Сашка» Заиграев («Сашка» этот – «сто лет в обед, а он всё Сашка» – с мамой работает, «пьянчутка чертов»).

Я вышла на сцену и вместо стишка «Будь здоров, профилакторий» вдруг начала петь Высоцкого: «Как, Вань? А Лилька Федосеева, / Кассирша из ЦПКО? Ты к ней приставал на новоселье... / Она так очень ничего». Мадина (Женькина мать и секретарь парторганизации маминого завода, шкафообразная тетка в квадратных очках – я ее побаиваюсь) вскочила со своего места. «Прекратить! – заскрипела она. – Кто позволил? А ну прекратить! Дайте занавес! Давай занавес, гнида!» Спасибо, Сашка Заиграев, растянул меха гармошки да как заорет: «К тому же эту майку, Зин, / Тебе напяль – позор один! / Тебе ж шитья пойдет аршин. / Где деньги, Зин?» Тетки в зале сначала молчали, как мордастые рыбы в аквариуме, а потом затряслись своими холодцовыми ту-



шами. Мадина – Зинаида Паллна – покраснела и выбежала из зала. Сашка Заиграев похлопал меня по плечу: «Ну ты, Танюха, даешь!» А Лилька Мочалина рванула к микрофону и профальшивила: «Ну, что «отстань»? / Опять «Отстань»? Обидно, Сань!»

Аплодисменты не смолкали минут двадцать. Успех был ошеломительный. Но мама отрезала: «Чтобы я хоть раз еще тебя взяла с собой!» – и вот мы снова едем в профилакторий. И я купаюсь в Бердском заливе, смотрю на рыб, ем кислородный коктейль – и знакомлюсь с Алешей. У меня платье василькового цвета, с белой грудкой, края которой расшиты розовыми цветочками, кудряшки отросли и свиваются в локоны, загорелая кожа цвета крем-брюле покрыта еле заметным золотистым пушком. «Ты похожа на инфанту Маргариту, только у нее платье другое», – Алеша сидит рядом со мной, ест ложечкой пузырчатое лакомство – кислородный коктейль и смешно морщит нос, поправляя очки, которые то и дело сползают к верхней губе. «А кто это, инфанта Маргарита?» – мне стыдно, что я не знаю какую-то там инфанту Маргариту. «Веласкес ее рисовал», – невозмутимо отвечает Алеша и улыбается мне. Воображает, тоже мне! Я отодвигаюсь: подумаешь! А сама мучительно перебираю в памяти все открытки с картинами художников, которые папа покупал в «Букинисте». Нет, никакого Веласкеса я не знаю. «Врешь, небось?» – я слизываю с ложки сладкую пену и, потрянув локонами, отворачиваюсь от Алеши. Он встает и уходит. То-

же мне, девчонка, обиделся! Из-за какого там Веласкеса! Я фыркаю. Алеша возвращается с двумя порциями кислородного коктейля. Я улыбаюсь. «Ты красивая!» – шепчет он и краснеет – и, кажется, очки его краснеют тоже.

(«Красивая как жопа сивая», – обычно говорит мне моя мама и добавляет: «Отцова дочь». Они – мамина родня – все черноволосые и черноглазые: мама, бабушка, Галинка, мамины сестры и братья. И дедушка: у нас карточка есть. «Волос вьющий, густой, глаз чёренной – красавец! – так говорит о дедушке моя бабушка. – Где-то ты теперь, мой Петушок!» (дедушка Петя пропал без вести в первые дни войны, и бабушка «рбстила семерых детей одна-одинешенька»). Они – мамина родня – все черные, и признают потому только «черную» красоту. Папа же мой светловолосый, светлоглазый, белокожий – и я вся в него: «отцов род». Когда я «неслушничая» (это бабушка так говорит), мама обижается: «Вся в отца, его порода – вот и иди к отцу!»)

Мы лакомимся пенистым лакомством молча: Алеша сидит, весь красный, я опустила глаза. «Ты красивая!» – поет над моей головой кто-то невидимый. Ре-ре-соль-ре-ре! «Вот ты где! – в маленький кабинетик, где профилакторцы поглощают кислородный коктейль, врывается мама... с выпученными очками – они вот-вот лопнут. – Бессовестная! Мать высунув язык рыскает по всему Бердскому заливу, а она и в ус не дует!» А я как раз дую в «ус» – воздушная пенка над моей верхней губкой взмывает ввысь... и повисает на но-

су – Алеша улыбается, мама бросает на него птичий взгляд. «Здравствуйте», – кланяется маме Алеша – очки его сползают с носа. «А ну пойдем сейчас же!» – крысится на Алешу мама и дергает меня за рукав. «Мам, ну можно коктейль доесть, а?» Я вру: я не коктейль хочу доесть – я хочу сидеть рядом с Алешей, и чтобы он говорил «Ты красивая!», и смотрел на меня умными каре-зелеными глазами поверх очков, и чтобы рассказывал о своем Веласкесе и инфанте Маргарите, и чтобы... «Только и знает жрать», – мама утирает лоб ладошкой, садится рядом. Алеша – красный-красный, на Ромку Бальцера похож! – неловко встает, пиала с кислородным коктейлем падает. «До свиданья», – бубнит себе под нос Алеша, поднимает пиалу и сверкает своими пятками к двери. «Это еще кто?» – фыркает мама. «Да так...» – отмахиваюсь я и стучу ложкой по пустой пиале. Да-так – дома... Па-риж... А-леш... Предательские слезы щекочут глаза, я шмыгаю носом, давлиюсь соплями – и ничего не понимаю: что это со мной?.. «Завыла как сивый мерин, – ворчит мама, – нет чтобы матери помочь: целый день на работе, пашу как пашечка, завтра в шесть часов вставать...» Завтра я увижу Алешу, и мы весь день будем купаться в Бердском заливе, есть кислородный коктейль, а вечером пойдем в кино: у нас кино каждый день крутят! – и когда выключат свет, Алеша...

Я засыпаю – открываю глаза: Галинка! Маленький приехал, пухленький приехал! А как же Алеша?.. Мы весь день

купаемся с Галинкой в Бердском заливе, едим кислородный коктейль, а вечером идем в кино: привезли «В моей смерти прошу винить Клаву К.» – и я сижу как взрослая рядом с Галинкой в последнем ряду и жую детский ирис. «Галь, – шепчу я в темноте, – мне один человек нравится...» Галинка молча жует детский ирис и даже не шелохнется. Я плачу. Галинка всегда смеется, если я плачу во время фильма. Я плачу, когда пытаются Павку Корчагина – у него вся спина в шрамах! – и когда он говорит о том, что надо прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно. Я плачу, когда убивают нескгибаемого коммуниста (в фильме эпизод есть, когда коммунист дерево валит! – у него мышцы просто играют!) Евгения Урбанского (а когда узнаю, что настоящего Евгения Урбанского тоже нет в живых, он погиб, Евгений Урбанский, такой же красивый – а мама говорит «губошлеп», – такой же красивый и статный, как мой папа, и тоже коммунист, наверное, – когда узнаю, что он погиб, я тоже плачу).

Я плачу, когда погибает поющая эскадрилья и аты-быты, шли солдаты. Плачу, когда мой любимый Евгений Леонов (Галинка соврала мне, когда я была совсем маленькой: мол, домашние называют его просто Евгá, но мама рявкнула: «Виса, ей с женихами надо встречаться, а она девчонку бузикает» – и Галинка покраснела), я плачу, когда в фильме «Старший сын» Евгений Леонов кладет таблетку под язык и говорит: «Ты мой сын!» – я плачу! Но сейчас я плачу не оттого, что Клава бросила Сережу, а он хочет умереть, я проглатываю

ваю с соплями половину фильма не оттого, что Любовь Полищук – «выдерга», как называет ее моя мама, – такая красивая, такая красивая, какой хотят стать все наши девчонки, и Аленька тоже, я знаю... Я плачу даже не оттого, что Аленька больше со мной не дружит. Я плачу оттого, что... кажется, люблю Алешу! Я плачу тихонько, чтобы Галинка ничего не заметила, – как хорошо, что мы запаслись детским ирисом и Галинка то и дело шуршит ирисочной оберткой, выслушивая цыканья и кряканья сидящей перед нами тетки с золотыми зубами и высокой прической (вот дурында – не видно ничего из-за нее!), наконец, высокая прическа орет, сверкая своими золотыми зубами: «Перестаньте шуршать, вы смотреть мешаете!», а лысый дядька, который сидит рядом с теткой, поддакивает: «Вот именно!» Галинка краснеет – я знаю! – на время замирает, но потом, как только на экране начинают громко разговаривать или звучит музыка, достает очередную плитку детского ириса – тетка цыкает, оборачивается. А я плачу. И сквозь слезы вижу... даже не вижу, а чую: кто-то смотрит на меня, оттуда, с пятого или шестого ряда. Мерцает что-то, будто солнечный... вернее лунный, зайчик ищет меня в зале. Стеклышки очков так мерцают в темноте. Алеша?! Это Алеша! Лунный зайчик щекочет мою щеку, Галинка самозабвенно шуршит ирисочной оберткой, высокая прическа с золотым зубом цыкает, Сережа любит Клаву и хочет умереть – я вскакиваю, утираю глаза кулаком, красная, сердечко бьется в белую грудку, расшитую розовыми цветами, –

я вскакиваю и вихрем вылетаю из зала. Лунный зайчик за мной.

«Хочешь апельсин?» – говорит – и краской заливается. И очки заливаются краской – вот-вот лопнут от стыда. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж. А-а! А-а!» – голос словно прыгает в моем горле. Я мотаю головой: хочу! Мы выбегаем на улицу. Темно. И луна желтая! «Ты видела когда-нибудь желтую луну?» Я снова мотаю головой: нет! А она, луна, нырнула на самое дно Бердского залива и посверкивает себе, золотые волны обмывают ее, словно звездочку с папиных погон, правда, одна звездочка бывает у майора – и когда папа станет майором, я вспомню вот эту желтую луну, которая смотрится в Бердский залив, как в зеркало... «А «Зеркало» ты видел?» – говорю я, и мой голос дрожит, словно подернулся рябью. Алеша мотает головой. Там, в «Зеркале», тоже Алеша! Но другой. «А эту музыку ты знаешь?» – и я пою: ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... «Бах», – мотает головой Алеша. Ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми...

Мы сидим на берегу Бердского залива, одна желтая луна повисла прямо над головой – вот-вот свалится, другая – купается в золотых волнах. Мне кажется, что небо и вода – это огромные погоны, на которых сияют майорские звезды. Мне восемь лет. Я рисую восьмерку на песке. Алеша – ему десять – рисует рядом с моей восьмеркой, только перевернутой, единичку – достает апельсин из кармана, протя-

гивает мне: он золотого цвета, апельсин, он словно маленькая желтая луна, он лежал в кармане у Алеши! И он... сладкий! Апельсин! В наших краях апельсин роскошь! Даже мы, не простые смертные, жаждем апельсинов как манны небесной, и вот их «выбрасывают» – и тогда мама, заняв очередь в магазине, звонит из автомата: «Таня, бери сумку, большую клеенчатую, и живо в магазин: апельсины выбросили!» – и я бегу, с большой клеенчатой сумкой, и думаю, а как, интересно, апельсины выбрасывают, и мы с мамой стоим в очереди, и нам дают в «одни руки два килограмма», а в «две руки» целых четыре, а когда Галинка дома, то в «три руки» – и целых шесть! И мы собираем кожуру от апельсинов, и варим из нее цукаты! А те кожурки, которые напрочь засохли, мы кладем в шкафы и кладовки, это от моли. Но моль, видно, тоже любит, когда выбрасывают апельсины, вернее, кожурки от апельсинов, и потому вьет свои гнезда в шерстяных носках и шарфах, пахнущих сочным южным плодом! А еще мы – не простые смертные – едим апельсины и мандарины в новогодние праздники! Папа приносит их в заветном пакете, долго шуршит бумагой – а они холодные, они запотевшие, апельсины-мандарины, ярко-оранжевые, и пахнут Новым годом! «И чтоб не смела даже подходить к холодильнику! – мама грозит мне пальцем, укладывая апельсины-мандарины в большие лотки. И вот теперь мы сидим на берегу Бердского залива с Алешей, золотая вода лижет наши ноги, а я держу в руках маленькую желтую луну – и ее сок беспощадно

лется по моему подбородку. На белой грудице, расшитой розовыми цветами, огромное желтое пятно – но я пока не знаю этого и самозабвенно вгрызаюсь в мякоть апельсина, потому что отделять дольки от большого плода мне не нравится. Я узнаю об этом уже днем, когда – после ночных розысков («Я по всему Бердскому заливу рыскала высунув язык! А они сидят... Бессовестная! – закричит мама, грозно сверкая стеклышками очков, словно Зевс-громовержец, – я как раз сейчас книжку читаю, “Мифы и легенды Древней Греции” называется, – мне Ираида Николаевна подарила, соседка наша, у которой Женя, Джекки, колли, Оля, – на день рождения, «зЫкая» книжка, как мы с Аленкой... говорим (эх, Аленка, и где ты теперь?). – Бессовестная! – закричит мама. – Я чуть с ума не сошла!» – и похожа она будет на медузу Горгону), когда – после ночных розысков, криков: «Такая же шалавая растет, как ее отец!», после того, как мама вырвет мою руку из Алешиной руки, потащит меня в нашу комнатку («Отцова дочь, прощельга чертов, семя прбклятое!»), а Галинка покраснеет, увидев меня, заплаканную, со спущенными гольфами, в помятом платье, – когда я, обессилив от горя, упаду на кровать и усну, а потом проснусь в половине первого и услышу истошный мамин крик (сегодня выходной, и мама не уехала «чуть свет» на работу), я услышу такой истошный мамин крик, что заткну уши, но слова все равно влетят в ушные раковины и долетят до самого сердца, словно стрелы, отравленные стрелы: «Импортное платье ухайдока-



ла, засранка! Двадцать пять рублей – я себе не могу позволить платье за двадцать пять рублей! – псу под хвост! И чтобы я тебя больше не видела рядом с этим... шалавая растет, как и ее отец!» – я встану и увижу, как на белой грудке, расшитой розовыми цветами, желтеется пятнышко, похожее на солнышко... нет, на желтую луну, и запылаю, словно розовый цветок, потому что это знак от Алеши! Но это потом... а сейчас мы сидим на берегу Бердского залива, кожура от апельсина валяется на песке, золотая вода лижет наши ноги, и моей щеки касается что-то холодное – это Алешины очки, а потом я чувствую теплые шершавые губы своими губами... Так страшно – я покрываюсь гусиной кожей. И сердце бьется – все говорят, «бьется», а у меня оно, будто птенец, отклеивается от грудной клетки маленькие кусочки... души... не знаю, где она, душа эта самая, обитает, но птенец, которого кто-то посадил в грудную клетку, рвется наружу со страшной силой. «Таня», – говорит Алеша сухим шершавым голосом. «Алеша», – поет птенец. Он больше не целует меня, Алеша, мы сидим молча, в обнимку, сидим, как в том фильме про взрослую любовь, забыла, и я чувствую себя загадочной женщиной – вот как Любовь Полищук или как Маргарита Терехова (все наши девчонки по Полищук и Тереховой с ума сходят, а еще по Ирине Алферовой), – и смотрю на желтую луну, которая катается в золотой волне как сыр в масле.

Днем – я наказана, заперта в комнате – мама с Галинкой уходят купаться и загорать. Я подхожу к зеркалу: на ме-

ня смотрит испуганная лохматая девчонка с заплаканными опухшими глазками и красными шершавыми пятнами на лице. А где та загадочная женщина, которой я была вчера? Любовь Полищук? Маргарита Терехова? «От людей совестно! – кричит мама, укладывая в пакет с Михаилом Боярским купальники и полотенца. – Вся в отца, такая же шалавая!» Галинка густо краснеет, втягивает голову в плечи и сует в пакет с Боярским кулечек конфет. «Только и знает жрать, виса чертова, – ворчит мама, – нет чтобы с женихами встречаться. Эта, – мама кивает в мою сторону, – маленькая, а и то уж жениха себе завела. А эта, – теперь мама кивает в сторону Галинки, которая жует сливочную колбаску, – сидит как колода. Навязалась же на мою голову! Хоть бы какой кыргыз ее увез, что ли!» Мама настойчиво пытается выдать Галинку замуж и «сбыть с рук» («Двадцать четвертый год висе!»).

Ей кажется, что «эту корову никто не возьмет». К нам даже жених настоящий приходил, Володька Звягинцев, какой-то сын какой-то маминой не то родственницы, не то подружки. Вот только Володька этот на Галинку и не глянул, а «жрал в три горла» бабушкины блины и пироги да сыграл со мной пару раз в поддавки. Галинка же, едва Володька ушел, закрылась в детской комнате («Волчина проклятая, навязалась же на мою голову!»), открыла секретер (Галинка там конфеты от меня прячет) и съела все свои запасы.

Я стою у зеркала. А по ту сторону – в Зазеркалье – плещется золотая волна, и где-то в мягком облаке спит желтая

луна, она проснется ночью, откроет свой круглый удивленный глаз – да ведь это же у меня желтые круглые глаза, они лунные! – и отразится в золотой волне, как в зеркале. Галинка с мамой сейчас плавают или загорают. Галинка конфеты ест. А я совсем не умею плавать. Я хожу на руках по илистому дну, луплю ногами по воде, делая вид, что плыву. А вода теплая-теплая, а дно будто пуховое. Я хватаю свой красный купальник. Слитный. Раздельный мне мама до сих пор не купила: «соплячка еще, вот вырастешь...», а у меня уже началось «формирование груди». Молоденький доктор с кудрявыми волосами – как у меня! – и с бородкой: мы пришли к нему с мамой на прием в районную поликлинику, как простые смертные пришли, – он потрогал мои «фигушки» («фигушки» – мамино словечко) и говорит: «У вашей девочки, – говорит, – формирование груди началось». Сказал и покраснел. Я запрыгала от радости. Ура (мы с девчонками, когда кричим «Ура!», добавляем «В жопе дыра!»)!

А мама очки выпучила. «Да вы что, – кричит, – ей ведь семи еще нет!» Давно это было, больше года назад. «Зеленый совсем, – ворчала мама, когда мы вернулись домой, – понимал бы что». Но мы пошли в санчасть, и Валентина Владимировна – красивая, неспешная, нравится «этому прощелыге чертову, от людей совестно» – потрогала мои «фигушки» и улыбнулась: «У Танюшки-то у вашей уже формирование груди началось». И тогда мама покачала головой, вздохнула: «Как на дрожжах прет, не успеваю ей одежду покупать. От-

борных продуктов нажрут...» А я, счастливая, прыгала и кричала, и когда мы домой вернулись, прыгала и кричала: «Ура, у меня формирование груди началось, формирование груди!» «Уймись, анчутка!» – цыкнула бабушка. Галинка покраснела. А папа затынул: «А здравствуй, милая моя, а ты откедова пришла?» «Жорка, – теперь уже на папу цыкнула бабушка, – а ну цыц! Ведро пустое!» На это папа заголосил пуще прежнего: «А ты, бабуся, не волнуйся, а всё у тебе впереди!» Бабушка махнула рукой и зашаркала по полу своими чунями. А Аленка, эта пигалица Аленка, когда я шепнула ей на ушко, что у меня формирование груди началось, сощурила глазки: «Ну да, Таня? – и пропищала: – Подумаешь».

Я хватаю свой красный купальник, слитный, хоть у меня давно уже началось формирование груди и мне пора носить отдельный, как у Галинки. Я хватаю этот несчастный красный купальник, застиранное полотенце, распахиваю окно: первый этаж, а страшно! «Господи, помилуй!» А в голове крутится: «Не Господи, а Советская власть!» Перекрестилась, глаза закрыла – сиганула, коленку расшибла. Ничего, до свадьбы заживет! До свадьбы! А замуж я выйду только за Алешу, только за Алешу!

Бегу сломя голову... и приволакивая ногу: ноет, и прилепленный подорожник не помогает. Издали замечаю маму с Галинкой: они растянулись на песке, загорают. На носу у мамы белая бумажка: это чтобы нос не обгорел – на глазах очки. Галинка откладывает книжку в сторону, кладет в рот

конфету, лениво поднимается и вяло, увязая в песке, плетется к воде. Я следом. Ходить по илистому дну на руках скучно. Галинка плывет по-собачьи, ее голова маячит на фоне огромного белого теплохода «Сибирь». Красота! Вот бы на таком прокатиться! Я захожу всё глубже, глубже. А вдруг я поплыву? Галинка ведь плавает. Волна – только она не золотая, а серая – лупит меня своим кулачищем по лицу, пароход виляет белой задницей. Сплошное марево. И привкус протухшей селедки во рту. Я захлебываюсь этой протухше-селедочной водой, я беспомощно колочу руками драчливую волну. Кто-то хватает меня за волосы, за мои кудрявые волосы, Галинкино лицо мелькает перед глазами и куда-то исчезает... Марево... Сплошное марево... Прихожу в себя... Песок скрипит на зубах... «Девочка утонула, девочка утонула!» – кричит какая-то тетка. Красный купальник к моему телу словно приклеили. Ноги – я поднимаю голову и вижу ноги – они трясутся, они синие, они покрыты гусиной кожей. «Очнулась!» – кричит все та же тетка. А рядом бежит какая-то женщина – у нее белая бумажка на носу. Мама... Галинка сидит рядом со мной на песке и плачет. Она сидит прямо на пакете с Боярским. Боярский сжался в комок, но ничем Галинке помочь не может.

«Куда тебя черти понесли? – кричит какой-то дядька – я вижу только его волосатые ноги, поднять голову нет сил. – Ты же видела, что пароход плывет? Ты чё, не понимаешь, что ли? И ребенка за собой потащила!» А Галинка плачет, пле-

чи ее вздрагивают, она даже не втягивает живот, чтобы казаться стройнее, и потому он свисает складкой поверх плавок. Боярский усмехается в свои усищи. Какая-то дамочка – именно дамочка: в шляпке, на каблучках, которые вязнут в песке, в руке у нее маленькая сумочка, а из сумочки высунулась книжка, – какая-то дамочка тянет за руку долговязого мальчика, тот пригибает голову, упирается, закрывается рукой от солнца, стеклышки его очков принимают на себя солнечный удар, на Алешу похож... «Идем, Алеша», – говорит высоким голосом дамочка... «Ой, опять упала!» – кричит тетка. Я слышу ее голос уже в каком-то тумане, будто я на дне колодца, а там, на воле, свистит ветер, и Алеша выносит меня на руках из воды. Белое платье прилипло к моему телу, длинные волосы струятся водопадом и оставляют на песке следы, они похожи на длинные тонкие росчерки...

Я лежу в кровати, на лбу моем мокрое вафельное полотенце, у изголовья стакан с водой и градусник. «Ну наконец-то, – вскрикивает мама, она сняла бумажку с носа, но нос все равно кажется блее щек, – я уж думала, не проснешься! У людей дети как дети, а эта...» Мама плачет, Галинка плачет... Пакет с Боярским – лицо его перекошено – валяется в углу. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!..» Мы чуть не утонули. Я пошла за Галинкой, нас отбросило волной, Галинка крикнула «спасите», какой-то дядька – наверное, тот, с волосатыми ногами, – кинулся нас спасать, мама бегала по пляжу, словно «испу-

ганная курица», с белой бумажкой на носу, дядька нас вытащил... А Алеша? Где Алеша? Я высовываюсь из-под одеяла. «А ну, угомонись!» – кричит мама. Проваливаюсь в колодец сна – и вдруг: ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... Открываю глаза – ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми! Бах! «Кому там черти не дают покоя!» – мама громко хлопает оконной рамой прямо на звуке ми: такое чувство, будто бы в моей голове зеркало разбилось. Видно, «черти дали покоя» Алеше: он молчит, и я – нырнув с головой под одеяло, в мою «пещеру», глотаю сопли и слезы, мурлыча себе под нос ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми. Всё кончено...

Ночь. Луна мигает хитрым желтым глазом. Дядька с волосатыми ногами пытается утопить меня, я задыхаюсь, заглатываю воздух, он смеется и окунает мою голову в протухшее-селечную муть. «Муть с жутью», – добавляет мама. Она бежит по берегу, и белая бумажка на ее носу «мельтешит», как говорит мой папа, перед моими глазами. Дядька с волосатыми ногами скалит зубы, хватая меня за шкуру, словно собачонку, я пытаюсь вырваться из его цепких лап... где-то я уже видела эти заросшие рыжим пухом лапы... у Хохрина, да, у Хохрина! Когда мы обмывали звездочку с папиных погон. Хохрин хватая меня за шкуру. «Не губите меня, пощадите. Я – морская свинка Рита!» – кричу я (историю про Риту я придумала, когда была совсем маленькая, и когда мы с мамой выходили на улицу, я выкрикивала во все горло «погубите, пощадите!»); одна тетка даже сделала маме

замечание: «Бедный ребенок страдает, а она и в ус не дует!», а я тогда показала тетке язык: «А у мамы нет усов»).

«Не губите меня, пощадите...» Старичок в белом халате и колпаке – откуда ни возьмись – кладет руку мне на лоб. «Обмойте девочку», – скрипит он, и зубы у него цвета жидкого чая. Такой чай пьет мой папа. Он добавляет в заварной чайничек воду до тех пор, пока заварка перестанет быть заваркой, а превратится в ту самую «муть с жутью», в которую меня сейчас пытается окунуть Хохрин. Старичок грозит Хохрину сморщенным пальчиком: «Обмойте девочку». «Не девочку, а звездочку!» – Хохрин показывает старичку язык и обмывает меня в протухше-селедочной воде. «Я не звездочка, я девочка!» – вырываюсь я из лап Хохрина. «Бредит», – мурлычет старичок и промокает мой лоб вафельным полотенцем.

Три дня и три ночи я валяюсь в постели, три дня и три ночи Хохрин пытается обмыть меня в протухшее-селедочной «мути с жутью», три дня и три ночи скомканный Боярский строит мне рожи, три дня и три ночи мама носится по берегу с белой бумажкой на носу и захлопывает окно прямо на ноте ми: ля-а-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми – бум! А на четвертый день мы уезжаем домой. «У людей дети как дети, а эти! – кричит мама, заталкивая в пакет с Боярским новенькие желтые колготки, которые мы купили в Бердске, и еще мы купили настенные часы и килограмм козинаков – в такой липкой пергаментной бумаге – и всё это мама, утирая пот со



лба, а он норовит залить стеклышки ее очков, всё это мама заталкивает в «Боярский» пакет, а тот самодовольно надувается – и теперь похож скорее на Демиса Руссо. – У людей дети как дети, а эти! – кричит мама. – Какие черти тебя понесли за Галинкой? И эта тоже, виса! – Галинка краснеет. – Ей с женихами пора встречаться, а она девчонку буздыкает!»

А на четвертый день мы уезжаем. На четвертый день Бог создал «два светила великие» – так написано в Библии, маленькой черной книжице с золотым крестом, книжице, которую «достал» папа и о которой никому нельзя говорить ни слова, а если «спросят, что папка принес», ответить: «Устав КПСС». Он тогда принес эту маленькую Библию – черную с золотым крестом – сел на софу и, листая тонкие пергаментные листы, прокашлялся «кхе-кхе» и стал декламировать, как декламируют стихи дети на утреннике в детском саду, – я сама недавно так декламировала стихи про Дедушку Мороза («Как чудесно ваша девочка декламирует стихи!») – шепнула маме наша воспитательница Вера Николаевна).

Папа декламировал: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет», – декламировал и смеялся, и даже выключил свет, а потом включил и снова смеялся. А мы сели рядышком, полукругом – я, мама, Галинка, бабушка, – сели и внимали каждому его слову, потому что слова те совсем не были похожи на стишки о Дедушке Морозе. Папа все больше и больше заходился смехом: «И был вечер, и было утро: день один», – папа показал палец. А мы молчали – всё глубже и глубже.

Первой не выдержала мама: «Шимпанзюка чертов!» – плюнула и ушла. «Ведро пустое!» – махнула рукой бабушка и тоже ушла. Галинка покраснела и ушла. А я заплакала. Папа аккуратно завернул Библию в «газетку», сунул сверток в секретер. «Только и знает хныкать, гнида противная!» – сказал папа. Он ушел, туда, куда ушли мама, бабушка и Галинка. Я слышала их голоса: «А здравствуй, милая моя! А ты откедова пришла (Кажется, папа пел ля-ля-ля-ля-фа-ре-фа-ля?)» – «Шимпанзюка чертов!» – кричала мама. – «Ведро пустое! – махала рукой бабушка»)?»

Я слышала даже, как краснеет Галинка: густо-густо! Но я открывала секретер, я извлекала из его чрева маленький сверток – слово «Правда» на газетной обертке, набранное черной типографской краской, больно кололо глаза, я отбрасывала газетную «правду» и с жадностью впивалась в мелкие буквы больших слов. Я пела: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» – как если бы я пела свой «Париж-Париж» и пребывала в том самом Париже – и это было просто «а-а!» какое-то!

И если бабушка в этот момент проходила мимо, она молча крестила меня; если мама – говорила: «Нажрется отборных продуктов – силищу девать некуда: дерет глотку, как сивый мерин – нет, чтобы матери помочь!»; если Галинка – густо краснела и опускала глаза; если папа – заливался хохотом и напевал: «А здравствуй, милая моя!»...

Три дня и три ночи я валяюсь в постели, а на четвертый

день мы уезжаем. На четвертый день Бог создал «два светила великие». А я, я – не могу даже повидаться с Алешей! «Мама! – кричу я в отчаянии. – Ля-а-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми!» Мама судорожно щупает мой лоб: холодный. Раздобревший Боярский ухмыляется с пакета. На носу его сидит жирный комар. Мама хватается за газету «Бердские новости» и лупит Боярского по морде. Тот куксится. «Погиб!» – радостно кричит мама, отшвыривая кровавую тушку. Собрат погибшего отчаянно жужжит над моей головой. Мама размахивает «Бердскими новостями», словно теннисной ракеткой, наносит удар. «Ушел, – выдыхает она. – Погиб! Ушел! Погиб! Ушел!» И вдруг: «Ля-а-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми!» Я бросаюсь к окну: Алеша! «А ну угомонись! – кричит мама, отбрасывая очередную кровавую тушку. – Я кому сказала?» Но стеклышки Алешиных очков, словно два светила, призывно горят за окном. На четвертый день Бог создал «два светила великие», а я на четвертый день возьму Алешу за руку и пойду с ним гулять по Бердскому заливу. И никто, никто на свете, не запретит мне! Никто: ни мама, ни Галинка, ни Боярский, как бы он ни надувал щеки. И я беру Алешу за руку, и мы идем гулять по Бердскому заливу. Я слышу, как мама бежит по берегу с белой бумажкой на носу, словно «испуганная курица»; слышу, как краснеет Галинка: густо-густо; слышу, как пыжится Боярский, – и сжимаю Алешину руку еще крепче.

«Мы сегодня уезжаем», – тихо говорю я. «Знаю, – кивает

Алеша, – я приду тебя проводить». И он приходит. «Вся в отца: такая же шалавая, – цедит сквозь зубы мама, – то умирала – мать от нее не отходила, ночей недосыпала, а то, – мама окидывает взором Алешу, Галинка густо краснеет, – шляется невесть с кем! А если бы автобус ушел? Бессовестная. Ну погоди, – мама грозит мне пальцем, он мельтешит перед моими глазами туда-сюда, словно метроном (у Лилии Григорьевны метроном есть, гэдээрровский, фирма), – домой вернемся – я тебе покажу!» «Вы черствая и жестокая!» – выкрикивает Алеша, и я слышу в его голосе низкие нотки, словно бы голос вдруг потяжелел. Мама багровеет: «Да ты...» Водитель автобуса клаксонит: си-си, си-си! «Женщина, – высовывается из окна автобуса какая-то тетка в красном гипюровом платке, – вы задерживаете людей! Развели тут, понимаешь!» Мама краснеет: «Ну чего рот раззявила, матери б лучше помогла!» – сует мне в руки «Боярский» пакет – тот вот-вот лопнет от зависти, втискивается в узкие двери автобуса и садится рядом с Галинкой. А я стою рядом с Алешей, по щекам моим текут слезы. «Я буду тебя ждать!» – говорю я. «Я приеду к тебе!» – басит Алеша. «Ну надо же, а! – вздыхает толстяк в белой майке с олимпийским мишкой. – Ну прям как взрослые, да, Том?» Тома – та самая тетка в красном гипюровом платке – поджимает губы: «Товарищ водитель, мы поедем или нет?» Товарищ водитель – рыжий верзила в газетной шапочке с газетным же орденом Ленина вместо кокарды – чешет затылок: «Чего, не видишь, мальцы прощаются?» –

и для порядку клаксонит: си-си, си-си! Я пулей влетаю в автобус. «Я приеду к тебе!» – кричит Алеша. Галинка косится в его сторону и покрывается красными пятнами. «Я тебе приеду!» – строжится мама. Она замечает, что «Боярский» пакет, раздувшийся от самодовольства, валяется на дороге, – ахает, стучит в окно. «Ну чего стоишь, рот открыл? Вот гаденыш! – кричит она Алеше и машет руками. – Пакет, па-кет, – выговаривает она по складам, показывая на Боярского, который сейчас лопнет от обиды и начнет исторгать из себя мои желтые колготки, настенные часы и козинак в липкой пергаментной бумаге, – пакет, говорю, давай сюда!» Алеша хватается несчастный пакет, пропихивает его между дверьми автобуса – они лязгают своими зубьями, словно чудища Сциллы и Харибды – я как раз читаю о них книжку, которую мне Ирида Николаевна подарила, «Мифы и легенды Древней Греции» называется, – Боярский морщится, ус его топорщится, желтые колготки выползают наружу. Мама подхватывает пакет, заталкивает в него колготки. «Чтобы я еще раз связалась с этой хиврей! – строжится она. – Да пропадите вы пропадом! У людей дети как дети...» Мама продолжает петь свои страдания, автобус фыркает, обдаёт Алешу пылью. «Я буду ждать тебя!» – кричу я Алеше, он бежит следом, автобус набирает ход, рыжий верзила в газетной шапочке с кокардой – орденом Ленина – скалит зубы, гипюровая Тома и толстяк – олимпийский мишка – смотрят на меня: Тома с укоризной, толстяк с удивлением. Алеша пропадает на первом поворо-

те в клубах пыли. «Я буду ждать тебя!» – кричу я и колочу кулаком в стекло. Галинка – а набычилась-то, вот чудище сциллово-харибдовое! – шуршит липкой пергаментной бумагой, беспощадно ломает козинак и перемалывает его челястями-жерновами. «А ну-ка онемей сейчас же!» – мама трясет меня, словно яблоньку, однако с меня теперь могут падать лишь яблоки раздора – о них я тоже только что прочла в «грецкой» книжке. Когда я была маленькая, я говорила не «греческие», а «грецкие», и была совершенно права, потому что мои любимые грецкие орехи – они растут на трускавецких деревьях запросто, словно облепиха у нас на даче, бр-р-р-р! – мои любимые грецкие орехи оказались греческими, и слово «грецкие» намного вкуснее слова «греческие». «А ну-ка онемей сейчас же! От людей совестно! – трясет меня, словно яблоньку, мама. – А эта виса, навязалась же на мою голову, – мама зыркает на Галинку, – только и знает жрать. Нет чтобы с женихами встречаться! Эта маленькая, и то вон с кавалером крутит!...»

Весь июль я смотрю Олимпиаду и жду Алешу. Владимир Сальников плывет к своей третьей золотой медали, а Алеши всё нет и нет. Виктор Кровопусков – фамилия для саблиста что надо! – наносит очередной золотой удар своему сопернику, а Алеши всё нет и нет. Александр Дитятин – тоже ничего себе фамилия! – уже в восьмой раз поднимается на пьедестал, а Алеши всё нет и нет. Встречаю на лестнице Ириду Николаевну: она была в Париже! – с какой-то старуш-

кой царственного вида шепчется: «Хоть бы слово сказали! Пол-Москвы на похороны пришло!» – «Скажут они! Мудозвоны!» – «Людмила Евгеньевна!» – «Девятый десяток Людмила Евгеньевна, отбоялась свое!» Ираида Николаевна делает страшные глаза, замечая мой открытый рот, Людмила Евгеньевна чуть не плюет в него: «Ну чего уставилась?» «А кого хоронили-то?» – лопочу. «Кого – Высоцкого!» – рывкает царственная старуха и зло стучит каблуками по лестнице. «Но сейчас же Олимпиада, все радуются...» – развожу руками. Но в ответ только стук по лестнице: соль-фа, соль-фа – и перекошенное лицо Ираиды Николаевны. Высоцкий умер... Алеша, ну где ты?.. «Жди-жди! – ехидничает мама. – Нужна ты ему как зайцу пятая нога!» Галинка краснеет, со злостью вгрызаясь в халву.

Возвращается папа. «Прощелыга чертов», – ворчит мама, но папа выкладывает из чемодана: чехословацкие хрустальные вазы (богемское стекло! – вот бы Буяновым показать, от зависти бы умерли!), тщательно завернутые в газетку, комплекты постельного белья с олимпийскими кольцами, черную икру в голубых банках, севрюгу горячего копчения, шоколадки «Мишка» с олимпийским мишкой на обертке, кофейные и апельсиновые жвачки, одноразовые стаканчики – папа выкладывает всё это, а мамины губы медленно раздвигаются в улыбку. «Пап, – дергаю папу за рукав, – а Высоцкий умер?» «Умер», – отворачивается папа. «Наркоман хрипатый!» – ворчит мама. Какое шершавое слово «наркоман».

Похоже на «нарком» или «наркомат», но страшное. Я плачу. В начале августа улетает олимпийский мишка. Я плачу и жду Алешу. «Жди-жди!» – ехидничает мама, опрыскивая себя новенькими духами «Красная Москва». Галинка багровеет, со злостью вгрызаясь в пастилу.

Скоро первое сентября. Мы едем в магазин «Орленок» покупать мне школьную форму. «Прет как на дрожжах! – чуть не плачет мама. – Нажрется отборных продуктов – покупай ей каждый год новую форму, меринос чертов!» Но никуда не денешься: мы покупаем мне новую школьную форму и два новых фартука: белый – с кружавчиками и черный – с крылышками. И белые банты в сиреневый горошек! И туфли, беленькие, с пряжечкой! Бедная мама! «Деньги псу под хвост выбросили! Пятнадцать рублей! Я и то не позволяю себе туфли за пятнадцать рублей!» Видел бы меня Алеша...

В понедельник первого сентября я торжественно выхожу из дома: белый фартук машет кружевными крылышками, белые банты, словно бутоны белых роз, вросли в мои кудряшки, красные гладиолусы (это букет для Степаниды Мишки) стоят по стойке смирно – всё честь по чести. Я второклассница, мне теперь не нужно подниматься чуть свет: я учусь во вторую смену. На первом этаже меня торжественно обнюхивает и одобрительно облаивает овчарка Норка: она обнюхивала-облаивала меня и ровно год назад, когда я пошла в первый класс. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Па-



риж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – радостно пою я. «В-вау! В-вау!» – подвывает мне Норка. Я выхожу из подъезда, вдыхаю первосентябрьский воздух – он особенный, воздух первого сентября, он щекочет ноздри свободой, которая уже второго сентября превратится в каторгу. Я делаю глубокий вдох, про запас, на вырост, и бодро перешагиваю порог: за черту не заступать, ни-ни – мы с Аленкой любим играть в границы: если видим трещинку на асфальте, ни в коем случае на нее не наступим! Я бодро перешагиваю порог – из соседнего подъезда выкатываются Аленка и Лилия Емельяновна... Аленка! Пигалица сворачивает свою коротенькую шейку в мою сторону, но Лилия Емельяновна – она в туфлях «на выход» и с бородавкой, которая присосалась, словно пиявка, к ее верхней губе, – Лилия Емельяновна дергает Аленку за тонкую косицу, как капитан корабля за штурвал, и возвращает короткую шейку на место. Они семят на пару, Аленка с Лилией Емельяновной, я прибавляю шаг – пряжки на новеньких туфельках сверкают решительностью – и гордо проплываю мимо. Мальчики и девочки с букетами астр и пионов ручейками стекаются к школе. Девяносто шестая: откуда ни глянь, девяносто шестая и есть. Мы тогда сидели с Алешей на берегу Бердского залива, и он спросил: «А в какой школе ты учишься?» «В девяносто шестой», – ответила я. «Вот это да! – воскликнул он. – И сверху она тоже девяносто шестая!» Алеша нарисовал на песке цифру «96» – цифра пустилась в пляс перед моими глазами, виляя круглыми бочками.

«Танька, привет! – возвращает меня с небес на землю Кузя: ее соломенные волосы выгорели на солнце, лицо загорело и похоже на печеную картошку. – Ты куда-нить ездила?» «В профилакторий», – кричу я и вижу Алешино лицо, и желтую луну, и золотые волны... «Это тебе!» – слышу я его голос. Я запрокидываю лицо и протыкаю носом – он у меня уточкой – желтую луну. Моей руки кто-то касается... лепесток... холодный, влажный, вязкий... Открываю глаза – Алеша! И астры в руках, белые! Аленка сворачивает свою коротенькую шейку и пялится на нас во все свои тонкие косицы. И Лилия Емельяновна пялится, так что бородавка над ее верхней губой налилась от злости, вот-вот лопнет. И Степанида Мишка пялится: напомаженные губки поджала, головой покачивает. И Ромка Бальцер – его рыжая головка выглядывает из зарослей голов, словно золотой шар – такие растут у нас на Паровозном, – и Ромка Бальцер пялится, и червячки в глазах его ползают. Я беру Алешу за руку. Аленка умирает от зависти! Атласные ленточки сползают по тонким косицам на землю змейками и вьются у ее ног. «Ты сказала, что учишься в девяносто шестой», – Алеша виновато опускает глаза, очки сползают к носу.

Это потом Степанида Мишка вызовет маму в школу и, размазывая ярко-красную помаду по подбородку, изрыгнет: «Ваша дочь презрела все нормы советской школы!» А завучиха Нинель Поликарповна – каракатица с большущей квадратной жопенью и ногами на раскоряку (Нинель Поликар-

повну прозвали Табуреткой – у нее и фамилия под стать: Стулова), – дребезжа стеклышками очков, просифонит: «Исключить! Исключить из школы! Позор!» Мама опустит руки, но папа – с каменным лицом и при погонах – строевым шагом направится напрямик к директору Сергею Леонидовичу («Слизняк заикастый! – ворчит мама. – Ни бе ни ме. Эти бабищи (наши завучихи: Нинель Поликарповна – с квадратной жопенью и Дина Семеновна – с «выдающимся бюстом», как говорит мой папа), эти бабищи взяли школу за грудки, а он и в ус не дует (он бы, может, и дул, но усов у него отродясь не было)!»), мой папа строевым шагом направится напрямик к Сергею Леонидовичу, стукнет по столу и звякнет медалькой «50 лет ВЧК»: «Товарищ директор! От своего лица и от лица «кэгэбы» торжественно обещаю взять на поруки Чудинову Татьяну». «Лицо» «кэгэбы» – Рыжов с Хохриным – покачают головой: не знаем, не знаем! Хохрин даже поскребет физиономию кулаком, заросшим рыжим пухом, – будто кулак этот обряжен в варежку, моя бабушка вяжет такие, – Хохрин поскребет физиономию и оскалится: «Не видать тебе теперь майорской звездочки, Чудинов, как своих ушей». Но папа звякнет медалькой «50 лет ВЧК» прямо перед носом директора школы, «заикастого слизняка» Сергей Леонидыча: «Товарищ директор! От своего лица и от лица «кэгэбы» торжественно обещаю взять на поруки Чудинову Татьяну». «Заикастый слизняк» поправит очки на носу и встанет по стойке смирно: «Т-так т-точно, товарищ к-к-капитан!» Это потом

мама будет вопить: «Шалавая! Вся в отца!», Галинка изойдет красными пятнами и съест кило халвы, а Лилия Емельяновна придет к нам в класс, попросит Степаниду Мишку «оградить ее дочь от тлетворного влияния этой бесстыжей» и добавит: «Она, между прочим, у нас вазу разбила, чехословацкую, и вообще!» Но всё это будет потом. А пока...

«Ты сказала, что учишься в девяносто шестой», – Алеша виновато опускает глаза, очки сползают к носу. Атласные змейки, выскользнувшие из Аленкиных косиц, извиваются у моих ног, белые лепестки гвоздик лижут мои ладошки. Я бросаю презрительный взгляд на перекошенную Аленкину мордочку и на атласные змейки. Я бросаю презрительный взгляд, беру Алешу за руку – и мы медленно скользим по школьному двору под возгласы моих одноклассников, словно Ирина Роднина и Александр Зайцев, – такой зыбкой нам кажется земля. «Чудинова, а ну вернись!» – кричит Степанида Мишка. А мы, выполнив параллельный аксель и подкрутку, покидаем школьный двор. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – пою я. Никогда еще Париж не был так близок! Вот он, на носу! И это синее небо, и эти белые астры – они похожи на перистые облака, и Алешины глаза за стеклышками очков, и даже лопнувшая от зависти Аленка – всё это Париж!

И папина майорская звездочка – украшает какую-нибудь там парижскую башню, может быть даже Эйфелеву. И Рыжов с Хохриным прогуливаются по какому-нибудь парижскому

району, может быть даже по Монмартру, и сосут монпасье, утирая усы рыжим пуховым кулаком, и важно картавят – Лариска Кащенко так картавит, тоже мне, парижанка! – так вот, Рыжов с Хохриным ну очень важно картавят, важнее, чем эта Кащенко: «Же ву пги, мадам! Милль пагдон, месье!», – воображают, что они Луи де Фюнес с Бурвилем. (Аленка просто без ума от Луи де Фюнеса; мы покупаем билеты на «Фантомаса» в первом ряду ДК «Строитель»: они дешевле, чем на камчатке, эти перворядные билеты – можно выкроить денег на мороженое: обычно на мороженое – обожаю! – мы деньги ищем (у мамы фиг допросишься: «опять сопатить и хрюкать будет, лишь бы в школу не ходить, – ворчит она, – и губищи все обметает, повиснут коромыслом» (вечно у меня эта простуда дурацкая на губах: «Чудинова, а Чудинова? – кривляется Лёвка Бабашов. – С кем целовалась?») – ни с кем, вот дурак несчастный!)), в общем, монетки мы ищем (если повезет, можем мороженое за двадцать копеек, за девятнадцать или за восемнадцать купить – мое любимое, пломбир и сливочное, если не очень – за пятнадцать, молочное шоколадное, еще меньше повезет – за десять, молочное, ну а за семь копеек фруктовое, такое липкое, красное и по рукам течет, – нам лишь бы что, хоть бублик за пять копеек – это уж совсем когда ничего не сыщем, а у людей просить стыдно: Аленка раз попросила, а дядька штаны расстегнул... и вытащил... бр-р-р-р, гадость!) – в общем, мы с Аленкой сидим в первом ряду ДК «Строитель» – и пялимся на пыльный экран,

и Аленька попискивает от восторга, задрав кверху тощие косицы, а я прикрываю глаза и вижу свое кино, оно живет на кончике ресниц. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!»)

Алеша живет на улице Плахотного. «Бывшая Лагерная», – громко картавит тощая старуха – Алешина бабушка, прищуривая черные глаза и выпуская изо рта колечко дыма: она курит «Беломорканал», как мой папа. «А здесь что, пионерские лагеря были?» – робко кошусь я на суровую старуху. «Угу, что-то вроде того», – она тушит папироску о спичечный коробок, а потом аккуратно кладет туда бычок (папа тоже бычки собирает).

«Ой, мама, не морочьте девочке голову! – поет высоким голосом Алешина мама, поджав тонкие губки. – Тебя как зовут, девочка?» «Чудинова Таня», – бурчу я себе под нос. «Вот и замечательно. А я Мария Михайловна. Мы с тобой мамой вместе работаем на заводе: я недавно поступила. А это, – дамочка показывает на пропахшую «Беломором» старуху, – Эдит Марковна». «Можно просто Эдит, – ворчит та, – а то язык сломает. «Вы француженка?!» – радостно выкрикиваю я, выпучив глаза, словно рыбообразная Степанида Мишка. «Ну а то как же!» – кряхтит Эдит. «Ба, не морочь Тане голову! – наконец-то подает голос Алеша. – Пойдемте лучше чай пить».

Мы сидим на махонькой кухоньке и пьем чай с печеньем. Мы с Галинкой любим намазывать «Земляничное» печенье

сливочным маслом, а потом, когда масло пропитается печеным духом, слизывать его. Но масла нет. Нет даже варенья. Простые смертные, дело ясное. Мы пьем чай с печеньем, и Алеша решительно говорит: «Таня останется ночевать у нас». «Таня, а ты где живешь?» – робко интересуется Мария Михайловна. «Я? В китайской стене. На Фрунзе». «Это что же, – кричит Эдит, – красный командарм выстроил Великую Китайскую стену в наших широтах?» «Нет, это дом такой, – спокойно отвечает Алеша. – Длинный». «Но это же очень далеко! – испуганно смотрит на меня Мария Михайловна. – А твои родители, Таня, знают, что ты у нас останешься ночевать?» «Знают», – Алеша хватается за руку и тащит в махонькую комнатку. (У Миркесов (Миркес – это Алешина фамилия) всё махонькое: кухонька, комнатки, коридорчик. «Хрущёвка, деточка», – цедит сквозь папироску в зубах Эдит.)

Однако Алешина мама Мария Михайловна, не удовлетворившись ответом сына и совершенно не дав мне осмотреться, просовывает голову в дверь: «Алеша, – поет она высоким голосом, – а может, мы все-таки позвоним Таниным родителям, а?» Я гляжу в ее испуганные глаза – в них отражается небо, усеянное звездами. Оборачиваюсь – за окном ночь! А на часах, что стучат своими каблучками-стрелками, без четверти десять...

Наши со Степанидой Мишкой телефоны часто путают: наш телефон заканчивается на 42-44, а Мишкин – на 44-42.

И поэтому, когда нам звонят и спрашивают Жору, я смело зову папу. Но у Степаниды Мишки сын тоже Жора, и как-то раз нам по ошибке позвонил друг Степаниды Мишкиного сына и говорит, громко так говорит, мне слышно: «Жорёс, – говорит друг Степаниды Мишкиного друга, – тут фарца есть клёвая, ты как?» Я не знаю, что такое фарца, но папа побледнел и как крикнет: «Я тебе глаз на жопу натяну!» И еще кое-что добавил. И трубку швырнул. Минут через пять звонит сама Степанида Мишка: «Георгий Иванович, вышло недоразумение...» Целую четверть я жила спокойно: ни одного замечания в дневнике, потом, правда, Степанида Мишка забыла о «клёвой фарце». И вот теперь, когда Мария Михайловна набрала номер, который заканчивается на 44-42, и своим высоким голосом пропела: «Вы не волнуйтесь, ваша дочь Чудинова Таня у нас», – и назвала адрес, Степанида Мишка завизжала в трубку: «Не выпускайте ее – едем!»

Ну и пусть «они» едут – мы сидим с Алешей в его махонькой комнатке, на махонькой тахте, застеленной клетчатым пледом, и слушаем ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... Алеша так близко: я чувствую жар его щеки! Стены увешены фотокарточками: вот Юрий Гагарин, он улыбается мне, вот Альберт Эйнштейн – он мне показывает язык, а вот Джон Леннон – тот вообще отвернулся. Ля-а-а... Алеша снимает очки (а очки у него, между прочим, как у Джона), берет меня за руку. Соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... Алешины губы, они такие шершавые... и печенье, я чувствую вкус печенья... ма-



мочки! Какой-то негр с фотокарточки выпучил глаза: давай, мол, не робей! – и дудит в трубу! Будто это он играет Баха... Ля-а-а... Шершавые и сухие... Соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... Аленка умрет от зависти, если еще не умерла... «Таня, – слышу я Алешин голос, – Таня...» Голос этот какой-то туманный: мягкий, сказочный, теплый... Я Таня... только не та смешная девчонка с кудрявыми волосами и круглыми, вечно удивленными глазами... Я налилась соком... Я знаю что-то такое, чего не знала секунду назад... «Алеша, – шепчу я, – Алеша...»

Папа – при погонах, мама – глаза заплаканы, на голове парик и красная гипюровая косынка, Степанида Мишка – красная помада размазана по подбородку – вламываются в махонькую комнатку. Ля-а-а... Музыка обрывается. «Бессовестная! – вопит мама, поправляя на голове парик, обвязанный косынкой. – Хочет мать в гроб загнать! Я все больницы обзвонила, все морги! А она тут...» «Гнида паршивая! – вопит папа, звякая медалькой и сияя погонами. – Из-за тебя мне теперь майорской звездочки не видать как своих ушей! Связалась с этими...» «Завтра без родителей можешь в школу не являться!» – вопит Степанида Мишка, пуще прежнего размазывая помаду по подбородку. «О Господи! – вопию я – а на меня пялится тот, с трубой, и глаза выпучил. – Сделай так, чтобы я скорее выросла! Я хочу стать взрослой! Хочу выйти замуж за Алешу!» «Бессовестная! – мама: парик перекосялся, косынка съехала на бок – прикрывает рот ла-

дошкой, качает головой. – В кого только уродилась...» – и зыркает на папу – «прощельга чертов». «Псявая козявка! – блестит своими капитанскими звездочками папа. – И чему тебя только в школе учат? – он зыркает на Степаниду Мишку. – Никакого Господа нет!» «Конечно нет! – размазывает остатки помады по подбородку. – И Юрий Гагарин, – Степанида Мишка зыркает на фотокарточку, – и Юрий Гагарин, когда летал в Космос, никакого Господа не видел!» А Юрий Гагарин улыбается: дура ты, Степанида Мишка, это ты дальше своего носа ничего не видишь! И этот, с трубой, туда же: silly old woman, Стъепаньида Мъишка! «Ну ладно, хватит дурака валять! – мама поправляет парик. – Собирайся!» «Таня останется ночевать у нас!» – Алеша закрывает меня своей узенькой грудкой. «Я тебе останусь! Шалавая растет, мать позорит перед этими...» – мама хватается за руку. «Ну что же вы! – в дверях вырастает Эдит, пыхая сигареткой прямо в мамин парик. – Такая солидная женщина! Вся в парике, в гипюре, а ругаетесь как извозчик!» «Да я...» – мама выпучила глаза, как тот, с трубой. «Жидовская морда!» – сплевывает папа и хватается за руку. Алеша с криком кидается папе на грудь – папа отшвыривает его как щенка и тащит меня к входной двери. «Так точно, гражданин начальник!» – Эдит прикладывает руку к голове.

Меня запихивают в машину, словно тюк с бельем. Махонький «Запорожец» (когда-то этот «Запор», как называют машинку наши мальчишки, был белым – теперь краска об-

дупилаась, и он стал похож на «пони в яблоках») свистит, урчит, ругается, фыркает, шатается, плюется – наконец, подпрыгивает, словно борзой щенок, и трогается с места. Папа сидит на переднем кресле, рядом с водителем – сыном Степаниды Мишки «Жоресом», я зажата между самой Степанидой Мишкой и мамой – на заднем. Едем молча, глухо как-то едем. Духота страшная. Волосы мои взмокли, лицо опухло от рыданий: глазки маленькие (мама говорит «глазки-бусинки», моему папе говорит, потому что у него глазки и правда махонькие) – и я похожа теперь на Кола Бельды (я люблю распевать песни Кола Бельды (а когда пою, раскачиваюсь, переминаясь с ноги на ногу): «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним / И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. / Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, / Ты увидишь – он бескрайний. Я тебе его дарю», «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар – / Городок не велик и не мал. / У Печоры у реки, / Где живут оленеводы / И рыбачат рыбаки»).

В висках стучит, словно это маленький игрушечный заяц бьет в барабанчик, а где-то в глотке, вот как когда кишку глотаешь (есть такая противная кишка цвета гнилого апельсина, я ее глотала, когда меня зондировали), где-то в глотке извивается «Жидовская морда!» – «Так точно, гражданин начальник!», «Жидовская морда!» – «Так точно, гражданин начальник!» – и хочется изойти желчью на весь белый свет. «Жидовская морда!» – «Так точно, гражданин начальник!», бр-р-р! И Алешин крик... так птица кричит... «Жидовская

морда!» – «Так точно, гражданин начальник!»... В каком-то фильме, помню, враг называл «нашего» (мы на переменках любим играть в «наших» и «немцев»: «немцем» быть стрёмно, а «нашим» зыко, но никуда не денешься, если тебе выпало по считалочке (нам с Аленкой нравится считалочка: «На золотом крыльце сидели царь, царица, клоп, мокрица, куколка, балетница, воображуля, сплетница, сапожник, портной, а ты кто такой?» – и тот, на кого укажет ведущий, отвечает: «Царь», или «клоп», или «балетница», а ведущий опять считает – выходит «царь», или «клоп», или «балетница»), но если тебе выпало по считалочке быть немцем – будешь, как миленький), в общем, в каком-то фильме враг называл «нашего» – «гражданином начальником», а не «товарищем». А вот что такое «жидовская морда»?.. «Жидами» мы с Аленкой называем тех, кто «жидётся», жадничает то есть, приговаривая «жид, жид, жид, жид по веревочке бежит». Аленка, когда я пою ей «жид, жид, жид, жид по веревочке бежит» (и правильно делаю: Аленка вечно прикрывает рукой строчку в дневнике, где записано домашнее задание, не дает подсмотреть, отличница несчастная!), – Аленка дуется, по-лисьи шурит глазки, тонкие косицы встают дыбом – «Ну да, Таня?» – пищит обиженная пигалица. Но обида быстро проходит. Через минуту мы уже хихикаем и шуршим под партой фантиками от батончиков «Шалуныя». Я пробую пропеть «Жидовская морда!» – не получается: сразу же начинает шевелиться грязно-апельсиновая кишка, к глотке подступает желчь,

и Алеша кричит по-птичьи... А Эдит не дуется, не щурит по-лисьи глазки и не говорит: «Ну да, Таня?» И косиц у нее нет. Но глаза... Глаза у нее такие... Вот как у Фаины Раневской в фильме «Мечта»; она говорит: «Зачем пропала моя жизнь?» – и глаза у нее...

Махонький «Запорожец» подпрыгивает, ворчит, шипит, рывкает, тьякает, садится в лужу (бабушка говорит не «лужа», а «ль́ва»: мы с Аленкой обожаем «шлындать по лывам» в резиновых сапожках – у меня такие синенькие сапожки с белыми отворотами, импортные), махонький «Запорожец» садится в лужу – папин ботинок сует свой нос прямехонько в мутную водицу. «У, ёп... понский городской!» – рычит подмокший папа. Едем мы с мамой как-то в трамвае (когда я была маленькая и мы с мамой заходили в трамвай (ну, или в автобус), я громко говорила «сесть!» и топала ножкой – тут же мне кто-нибудь уступал место), мне года четыре. И вдруг трамвай как тряхнет – я лбом о стекло. «Японский голодой!» – кричу. «Это кто тебя научил так ругаться?» – пристает ко мне какая-то старушка в красном мохеровом берете. «Папа», – морщусь я и растираю шишку на лбу. «Это хорошо, что у тебя папа так ругается!» – сладким голоском щебечет мохеровая старушка и дает мне конфетку «Ну-ка отними» (помню, я, совсем ещё маленькая, как-то разобиделась на Галинку и как крикну: «Трась!» – Галинка понять ничего не может: «Какая трась?» – и только потом до нее дошло: это я «мразь» переименовала на свой лад – и вышла очень даже

миленькая «трась»!).

«Мой папа умеет и не так...» – не успела я открыть рот, как мама показывает мне кулак: прикуси, мол, язычино (мама так говорит: «язычино»).

Я готова, готова прикусить язычино и слушать все эти «мать-перемать-растуды-ети», даже пусть папа ударит меня, выпорот ремнем с металлической бляшкой, только бы он больше никогда не говорил это грязно-апельсиново-кишкообразное «жидовская морда», которое извивается в моей глотке и просится наружу желчью! Ну пожалуйста, ну папка!

«Шалавая растет! – скулит мама у порога. – Тебя хоть там покормили?» Заспанная Галинка стоит в дверях. Мятая ночнушка, мятое красное лицо... «Жиды пархатые: покормят они, выкуси!» – рывкает папа. И опять гнилая апельсиновая кишка начинает извиваться в моей душе. «Нюрка! Жорка! А ну цыц! – бабушка! И встает словно корявое сухое деревце в дверном проеме. – Оставьте девчонку в покое!» Я кидаюсь к бабушке. «Тише ты, ирод окаянная, с ног снесет!» – ворчит она и уводит меня на кухню. Она уводит меня на кухню и кормит горячими оладьями со сметаной. А я уплетаю за обе щеки, словно с голодного мыса, захлебываюсь слезами и рассказываю про Алешу. «Ох девка ты девка», – бабушка качает головой, подливает мне киселя. «Бабушка, – в моей груди начинает извиваться кишка цвета гнилого апельсина, оладья (мои произносят «оладь») лезет наружу, – а что такое жидовская морда?» «А хто это тебе сказывал?» – бабушка

морщит лоб. «Папа», – шамкаю я набитым ртом. «Вот ведро пустое!»

Галинка досматривает десятый сон, а я всё не могу утёркаться («утеркаться» – мама так говорит: это когда я разбузыкаюсь (тоже ее словечко)).

Через дверную щель я вижу, как две тени – мамина и папина – мечутся по стене, и слышу грозный шепот, который отдается эхом в моей голове: пещера, Платонова пещера! «Ну что ты молчишь, прощелыга чертов? Ребенка спасать нужно!» – «Да пошла она!» – «Еще отец называется!» – «Да этих жидов пархатых за сто первый километр выслать – и хрен с ними!» Сто первый километр... Когда мы едем на Паровозный, проезжаем станцию «Тридцать восьмой километр». А сто первый – это далеко, наверное Курундус или Изынский: смешные названия, мы берем билеты в этом направлении. Тетка-дикторша обычно дребезжит в микрофон: «Товарищи пассажиры! Электропоезд “Новосибирск-Главный – Курундус” или “Новосибирск-Главный – Изынский” прибывает на третий путь, повторяю, электропоезд “Новосибирск-Главный – Курундус” прибывает на третий путь» – и «товарищи пассажиры», в том числе мама, папа и я, с рюкзаками, ведрами и тележками, как по команде штурмуют электричку, будто это не электричка, а гора Эверест. Я, когда была маленькая, мечтала стать диктором. Я брала свою любимую чашечку с розовым слоником, подносила ее ко рту и громко, вот как эта дребезжащая тетка, объявляла: «Товали-

щи пассатижи!» Голос мой звучал грозно, отдаваясь эхом в головах мамы, папы, бабушки и Галинки. «Да сидел бы: “выслать”! – меж тем отдается в моей голове. – Это ты тут такой смелый, а там, небось, пукнуть боишься, жопы этим старым прощелыгам лижешь, Рыжову с Хохриным, тьфу, образина чертов!» («Там» – это, наверное, в кэгэбе!) «Да пошла ты!» – «Только и знаешь водку жрать с москвичом! Ребенка надо спасать, а он заладил: жиды да жиды!» – «Надоели, как собаки, ети его мать!» – «Я тебе надоем! Я вот в партком пойду...» – «Не трожь партком!» Время от времени мама грозит пойти в партком. Что такое партком, я пока не знаю (партком... наверное, там тоже работают не простые смертные, как в кэгэбе) – знаю только, что мамина сестра, а моя тетя, ходила в партком и заявила, что ее муж «алкаш прбклятый!», что «у людей мужья как мужья, а этот, пропастина чертов, зальет шары – никакой жизни!». Партком «принял меры»: «если не перестанешь бузить, товарищ Сапрыкин, положишь партбилет на стол, ясно?» – дядь Митяй встал по стойке смирно: «Ясно, товарищ партком!» Теть Дуся, жена дядь Митяя, сестра мамы и моя тетя, пришла к нам с подбитым глазом, который она неумело замазала мукой. «Пить не пьет, – говорит, – но бутузить меня начал», – и ревет. «Уж лучше пусть пьет», – вздохнула моя бабушка, мамина и тетя Дусина мама. «И то правда», – всхлипнула тетя Дуся. Папа боится вылететь из органов (органами папа называет «кэгэбу») – и потому слово «партком» бьет его током почище



дядь Митяева кулака или какой-нибудь нейлоновой рубашки (папа эти нейлоновые рубашки терпеть не может: честно говоря, он любит только военную форму и мечтает о майорской звездочке, даже во сне шепчет «звездочка» и сладко причмокивает).

«Не трожь партком!» – мечется папина тень. Иногда мне кажется, мама и папа так и остались маленькими беспомощными детьми, которые только играют во взрослых: мама нацепила парик, туфли на высоком каблуке и гипюровый платок, а папа – фуражку и форму со звездочкой. «А ну прикусите язычино! – встает с постели моя бабушка (мы спим втроем в крошечной спальне: я, Галинка и бабушка; лет до пяти я пёрсалась в постель (мне снилось, что я снимаю штанишки, сажусь на горшок – и горячая жидкость струилась по моим ногам); «Зассанка чертова! – вопила мама, потрясая перед моим носом описанной простыней и пижамкой. – Навязалась же на мою голову! У людей дети как дети, а эта... Да пропади ты пропадом!», а бабушка поднималась среди ночи, щупала меня, потом охала: «Танюха ты мокруха, опять напрудила!» – и подтыкала простыню, чтобы мне «было сухохонько»). – «А ну прикусите язычино! – встает с постели моя бабушка. – Ночь на дворе!» Тени прикусывают язычино, Галинка пускает пузыри во сне, бабушка кряхтит, ворочается на своей пуховой перине. «А этот, Лёнька-то, он чей?» – шепчет она, сверкая своим глазом в темноте. «Какой Лёнька?» – «Ну твой-то... Миркин, что ль?» – «Алеша?» – «Он

самый, а то кто ж». – «Ну, мама у него есть, бабушка». – «Бабушка? Это хорошо. А отец есть?» – «Да вроде нет». – «Ишь ты! Поди, напаскудил – и в кусты». – «А как это?» – «Ладно, спи!»

«Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!..» Я мечусь по постели, вот как только что метались по стене папина и мамина тени, но сон не хочет опутывать меня, как опутал уже бабушку: она сладко посапывает, вскрикивает «свят, свят, свят» – и Галинку: та всё пузыри пускает. («Ей с женихами пора встречаться, а она девчонку бузывает! – сокрушается мама. – Эта маленькая, а, гляди, уже любовь всю крутит, зассанка чертова, недавно еще в штаны прудила. А эта, виса, навязалась на мою голову: примет форму кресла, медуза ты расплывчатая, сидит конфеты жрет! Хоть бы кыргыз ее какой увез, что ли!») – а я как представляю, что Галинку – хоть она и знать не хочет про мою любовь, – увозит кыргыз (почему-то я вижу его в буденовке и гимнастерке, как в фильме про девушку Алтынай, «Первый учитель»: я плакала, когда Алтынай отдавали ненавистному баю), как представляю: вот он взваливает Галинку, словно тюк, на худую лошаденку, отирает пот со лба, поправляет на голове свою буденовку, а потом чу, пшёл! – и скачет по пыли, Галинка, точно бурдюк, сбоку болтается, – в общем, как представляю эту картину, сразу в слезы: уж лучше бы Галинка никогда никуда не уезжала, зачем ей замуж? – тем более и мама говорит, муж у нее будет пьяница, потому что она

«оставляет слюни» (вечно чай не допивает, так и стоит в стакане – Галинка любит пить чай из стакана в подстаканнике – так и стоит в стакане темно-бурая жидкость, пока бабушка не чертыхнется и не выльет ее в мойку), а кто «оставляет слюни» в стакане, у того муж или жена пьяницами будут.)

«Танчишка, чего тебе черти покоя не дают?» – шепчет бабушка и зевает во весь рот, крестит зевок, ворочается с боку на бок. «Бабушка, а расскажи, как ты замуж пошла». «Вот песье отродие, а? – ворчит бабушка, но по-доброму ворчит, знаю я ее. – Завтрева не добудишься!» И уже через минуту рассказывает, как пошла за своего Петрушу, как ей было «шешнадцать», а «мому соколику и того, пятнадцать», как они «шибко дружка дружку любили», как девчонкой служила «у барышни Лизаветы», как та, барышня, говорила маленькой бабушке: «Таня (Таня – это моя бабушка, меня в ее честь назвали, а Галинку мама хотела назвать Леной, а как пошла в загс записывать ее, то почему-то сказала: мол, запишите Галиной – так Галиной и стала), Таня, учиться тебе надобно!», «а я так и осталась неучем» (хороший «неуч» – умудрилась выучить грамоте и Галинку, и меня: бабушка знала буквы, а вот «складать» их в слова «знала, но разучилась»; помню, идем с ней по улице: «Какая это буква?» – спрашивает и тычет в воздух. – «Магазин», – кричу я. – «А эта?» – «Цирк»; но вот когда я прочла «Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза товарищ Леонид Ильич Брежнев», бабушка всплеснула руками:

«Ну шельма рыжая!» – это означало, что учить меня больше нечему), – «а я так и осталась неучем» – и усмехается: «Но Петруша мой меня и без того шибко любил», только вымолвила – на пороге спальни вырастает мамина тень. «А ну-ка онемейте сейчас же! – тень наползает на меня. – И попробуй только завтра в школу не пойти! Будешь вон, как Вася-дурачок, улицу мести!» Васю-дурачка мы с Аленкой боимся пуще огня. Это рыжий глухонемой детина лет шестнадцати. Ростом с меня («Меринос чертов, – ворчит мама, – мать перегнала, одежды на нее не напасешься!»), зато плечи как у моего папы. Вася помогает мести двор матери, махонькой старушонке (старушонку эту за метлой не видать), гоняет голубей и нас, «китайцев» (нас прозвали «китайцами» потому, что мы живем в «китайской стене»): Жанку Тальман (так и надо этой Тальман: воображуля несчастная, «тонконожка – жопка с луквичку», называет ее моя мама) недавно в траншею толкнул, на трубы. Мать Жанки – «Тальманша» – прибежала «с выпученными шарами»: «Безобразие! – визжит. – Куда только милиция смотрит?» – и бигуди свои поправляет под косынкой. «Куда положено смотрит! – сверкает лысиной дядь Саша-милиционер, цокая языком и прожигая своим масляным глазом толстую жопень Тальманши, обтянутую коротеньким атласным халатиком («Хоть бы лытки свои прикрыла, шалава! – ворчит мама. – Перед детьми фигурирует! И этот, Тальман сам, черт плюгавый, очки на нее выпучит – налюбоваться не может, тьфу!»).

Второе сентября – а будто вечность прошла... Две капли щелкают меня по носу: сейчас как ливанёт, а ты зонтик дома забыла, раззява! Радостно шныряю в дверь – на меня обрушивается похоронный марш. Мы с Аленкой обожаем пляться на похоронную процессию: едва слышим траурную музыку («Девчонки, похороны, шубись!») – несемся со всех ног на звон литавр и бесцеремонно разглядываем людей в черном, что медленно плывут следом за гробом, обтянутым красным бархатом. Они медленно плывут, эти люди в черном, за покойником, а он лежит себе, блаженно скрестив руки на груди, и думает о «том свете»: каково там? «Да на кого ж ты нас покинул? – причитает какая-нибудь женщина в черном платке. – Да милый ты мой, да хороший ты мой!» А тут тишина, мертвая. Я стою под козырьком – и коленки мои трясутся. Мимо проходят солдаты в странных пилотках-панاماх, лица их обгорели на солнце, а глаза словно бы высохли: ни слезинки. А вот тетя Катя Вдовина (тетя Катя в хлебном магазине работает, соседка наша): прикрыла рот ладошкой и глядит в одну точку. Ее под руки ведет муж, дядь Коля. Рядом мальчишки Вдовины – их у тетя Ани и дядь Коли пятеро («Оторви да брось, – говорит мама. – Наплодила, сама не знает теперь, что с ними делать»): Серега, Кирюха, Лёха, Санёк, Диман... только вот Димана не видать, его в армию забрали, он самый старший. Помню, идем с Аленкой: на мне платье импортное (платьице – умереть не встать: такое зеленое, с крылышками), кружевные гольфики, заколка

в волосах. Диман (я Димана Митей зову) на меня глянул своим глазом-светляком: «Красавица растет!» – и языком прищелкнул. Аленка аж косицы вытаращила. В армию уходил, меня увидел: «Ну что, Татьяна, ждать будешь?» – а мальчишки Вдовины: Серега, Кирюха, Лёха, Санёк – как заорут: «Жених и невеста, жених и невеста!» «Сыночек мой...» – теть Катя Вдовина глупо улыбается, что-то поправляет в гробу. Дядь Коля сжимает ее плечи: «Ну-ну, мать, ну-ну!» А в гробу... мамочки... Диман... Митя... Светляки свои прикрыл и будто хмурится. «Душманец Митьку-то подстрелил, – охает теть Нина, соседка, та, у которой овчарка Норка: Норка тихохонько поскуливает. – Такой молодой, такой молодой! Война прókлятая!» «Какая война? – скрипит сосед Ефимыч. – Интернациональный долг мы выполняем. Слыхала?» «Да иди ты, долг! – Норка хватъ Ефимича за штанину. Тот брыкается. – Детя́ми нашими отдаем, долг-то?» Про этот долг говорила недавно и Вера Шебеко по телевизору (я ее боюсь, этой Шебеки, злая она, и прическа у нее злая): «Советские воины с честью выполняют свой долг в Афганистане». «Спи, сыночек, намаялся, поди!» – теть Аня глупо улыбается, гладит Димана по головке. Дядь Коля курит самокрутку, а по щекам его текут слезы. И тут ливень! Я со всех ног кидаюсь в серое марево, которое лупит меня по голове, по ногам, и бегу не разбирая дороги.

«Чудинова, опять за свое? – Степанида Мишка прожигает взглядом мою изрядно подмоченную репутацию. Стою у по-

рога класса, виновато опустив глаза: форму хоть выжимай, портфель как аквариум: тетрадки вот-вот поплывут, словно рыбы, в тувельках что-то чавкает, с кудряшек течет прямо на пол. – Садись на место». «Димана убили...» – мой голос звучит глухо, будто говорю не я, а джинн, который сидит в кувшине. «Какого Димана? Что ты городишь?» – «Вдовина...» Аленка – до того она делала вид, что не видит меня, – вскидывает бровки. Она пересела к Алиске Сусекиной, и наша парта на камчатке теперь зияет, словно бездна. Кузя перешептывается с Данькой (Кузя с Данькой в одном подъезде с Вдовиными живут).

Диман подмигивает мне своим глазом-светляком, улыбается: «Ты не жди меня, Татьяна, я там». Я молча киваю. «Я кому говорю: садись на место!» – Степанида Мишка, размазав помаду по подбородку и маршалским взором окинув класс – все тридцать две головы (десять голов русских, двадцать темноволосых, одну рыжую – Ромки Бальцера и одну белобрысую – Вадьки Янькина: с Вадькой нас поставили в пару на ритмике как самых высоких девочку и мальчика), Степанида Мишка громко затаила дыхание – тридцать две головы замерли в ожидании. И моя, тридцать третья, повинная, которую, как известно, меч не сечет. «Ребята, – наконец, поет Степанида Мишка бельканто, – в то время как наши воины выполняют интернациональный долг в Афганистане, ученица второго “А” класса Чудинова Таня забыла о своем долге». Степанида Мишка набирает воздуха в легкие, трид-

цать две головы разом выдыхают и оборачиваются в мою сторону. «Вместо положенной политинформации, – Степанида Мишка буравит меня своими глазками, – мы обсудим “инцидент” (вечно эта Степанида Мишка брякнет что-нибудь эдакое: в первом классе, помню, Мишка позволила себе брякнуть “более красивее” и “истинная правда”, – и тогда я позволила себе поставить ее на место: «Не более красивее, а красивее, не истинная правда, а правда или истина»); однажды Степанида Мишка воинственно размазала помаду по подбородку и завопила: «Я смотрю, ты всё знаешь, Чудинова! Может, ты займешь мое место?» – «Нет, – спокойно ответила я. – У вас работа собачья, а платят с гулькин нос (так моя мама говорит)»; с тех пор Степанида Мишка невзлюбила меня), – вместо положенной политинформации мы обсудим “инцидент” с ученицей второго класса “А” Чудиновой Таней». Десять русых голов, двадцать темноволосых, одна рыжая и одна белобрысая тарашат глаза. В воздухе много-много повисает тишина. «Ученица второго класса “А” Чудинова Таня первого сентября, – Степанида Мишка дрыгает ногой в красной туфле на шпильке, будто цирковая лошадь, – в этот замечательный праздник всех советских детей, самовольно покинула торжественную линейку!» Степанида Мишка размазывает помаду по подбородку, тычет указкой в портреты Ленина, Пушкина и Чарльза Дарвина, «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – самовольно мурлычу я, развалившись на камчатской



парте, «Пагиж-Пагиж», – грассируют Ленин с Пушкиным, «Пауиж-Пауиж», – гундосит Дарвин. «Я-то был в Пагиже, а вот вы, Александр Сегтевич, нет-с!» – «Подумаешь! Зато меня фганцузом пгозвали в лице. И застгелил меня Дантес, тоже фганцузская штучка». – «А меня Фанни Каплан подстгелила». «А вы, господа, зверь!» – гундосит Чарльз Дарвин и показывает язык. (Так говорила «раба любви»: «Господа, вы звери!» – и уезжала на трамвае, в светлое ли будущее, на тот свет ли... Мы с Аленкой даже поспорили: она топорщила свои косички и по-лисьи шурила глазки («Ну да, Таня, она поехала к нашим!»), а я округляла глаза («А зачем нашим эта женщина с нимбом?»)) А потом я брала массажную щетку, начесывала свои кудрявые волосы нимбом, складывала молитвенно руки и тоненьким голоском пела: «Господа, вы звери...» – до-до-до-до-ре-до.)

«А вы, господа, зверь!» – гундосит Чарльз Дарвин и высовывает язык. А там за окном – вот же он, вы его не видите, а я вижу! – стоит Алеша и держит в руках мое сердце! Он держит его так крепко, так нежно, так бережно! А оно трепещет, словно птица! Белая голубка!

Но когда Степанида Мишка вызовет маму в школу: «Ваша дочь презрела все нормы советской школы!», а завучиха Нинель Поликарповна просифонит: «Исключить! Исключить из школы! Позор!», когда папа стукнет кулаком и брякнет медалькой «50 лет ВЧК» в кабинете директора Сергея Леонидовича: «Товарищ директор! От своего лица и от ли-

ца “кэгэбы” торжественно обещаю взять на поруки Чудинову Татьяну», а Лилия Емельяновна, Аленкина мама, попросит Степаниду Мишку «оградить ее дочь от тлетворного влияния этой бесстыжей», – мое сердце даже не шелохнется.

А Степанида Мишка выносит «на всеобщее обсуждение осуждение поведения октябренка Чудиновой Тани». «Кто за то, – размазывает помаду по подбородку Степанида Мишка, – чтобы вынести Чудиновой Тане строгий выговор?» Тридцать две руки взлетают над тридцатью двумя головами в знак согласия. Аленкина рука – так кажется мне – взлетает самая первая, тощие косицы топорщатся, глазки щурятся, и я словно бы слышу: «Ну да, Таня?» Я скучаю по тебе, Аленка, скучаю! Но ты больше не хочешь меня знать, ты теперь дружишь с Алиской Сусекиной. У нее мать торгашка – и Алиска считает себя не простой смертной. Но вслух считает, не то что я: я храню военную тайну. Финские сапожки и японскую курточку я ношу словно бы исподлобья, с чувством вины перед девчонками и мальчишками в отечественных сереньких пальтишках и туфельках. Алиска же щеголяет в сапожках-дутьшах открыто: «Мама достала, импортные», – приторным голоском поет она и задирает нос. Правда, «поет» – это громко сказано. Учились мы в первом классе, и в школе объявили набор в хор – так и было написано на большом плакате, что висел прямо на входной двери: «Объявляется набор в хор. При себе иметь голос и слух. Запись у Нины Павловны». Нина Павловна – это наша училка

по музыке, она очень похожа на мадам Грицацуеву из фильма «Двенадцать стульев», у нее даже мушка над верхней губой, как у Грицацухи. Мы звали ее поначалу Пáллна, а потом стали звать Пóллна: уж слишком толста. Приходим мы в актовый зал. «Ну что? – кокетливо отставила в сторону жирную ляжку Поллна. – Голос и слух у всех есть?» Мы – я, Аленка, Кузя, Данька Пеньков, Алиска Сусекина – киваем: у всех, мол. Поллна, сверкая своей мушкой, раздает нам какие-то бумажки – и к пианино (несмотря на солидные габариты («сто двадцать кило!», удивленно пропел мой папа, увидев Нину Павловну), Поллна легка на подъем, кажется, будто внутри она совершенно пустая): «Ребята! Сейчас мы будем петь с вами песню итальянских партизан “Белла Чао”». И-и! – Поллна, взмахнув рукой, голосит: – Я проснулся сегодня рано. / Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао». «Я проснулся сегодня рано / В нашем лагере, в лесу», – подпеваем мы. «Чудинову слышу, – поет Нина Поллна, – уже в хоре». Я сияю. «Сусекина!» – вопит Поллна. Алиска заводит: «Светит солнце, сияет ярко». «Не слышу», – тренькает Поллна. «Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао, – шипит Сусекина. – Светит солнце, сияет ярко. / В гости к солнцу я иду». Я затыкаю уши. Белесая Сусекина шевелит бескровными губами, испуганно поглядывая на Поллну. Та морщится, лупит по клавишам. «Завтра на хор приходит Чудинова». Нина Поллна швыряет крышку пианино на клавиши – те взвизгивают, взлетает, словно воздушный шарик, –

и за дверь, будто ее и не было, будто она мираж, дымка. «Ну чего рот раззявили?» – тетя Паша, наша уборщица, гремит ведром. Мы вздрагиваем. «Завтра на хор приходит Чудинова», – эхом отдается в моей голове. Однако завтра в третьем ряду хора стоят Аленка с Алиской Сусекиной – меня поставили в четвертый.

Аленка – тощие косички топорщились, грудка вздымалась – сама мне рассказала (мы тогда еще разговаривали с тобой, Аленка, да еще как разговаривали... эх, Аленка...).

Сразу после прослушивания Поллну вызвала к себе наша завучиха Нинель Поликарповна, или Табуретка: «Нина Павловна, Алена Буянова – отличница, гордость нашей школы. Я думаю, вы понимаете, что она должна петь в хоре». «Но она не умеет петь!» – тут Аленка покраснела: соврать не смогла, отличница несчастная, а правда глаза колет. «Вот вы и научите!» – отрезала Табуретка. А вот Алиска Сусекина «пролезла в хор по благу» (это сказала моя мама, но я тоже так думаю).

Ее мать, «торгашка чертова», приперла пухлую Поллну к стенке: «У моей Алечки слуха нет. Но зато голос прекрасный!» – а сама, «морда твоя торгашеская, сапоги этой музичке австрийские приволокла – я таких сроду не нашивала – и ассорти венгерское». Поллна – не будь дура – сапоги на «свои лядвѐи» натянула: «Ну что ж, – говорит, – будем с Алисой теперь Моцарта и Листа разучивать». «Вот и правильно», – улыбнулась торгашка Сусекина своей золотозу-

бой улыбкой (в тот момент не думала Сусекина-старшая о том, что Моцарт с Листом – австрияки: музыкально-торгашеские параллели ее мало интересовали) и сунула пышно-телой Полдне беленький конвертик. Правда, Поллна внезапно ушла в декрет. Живот у нее что до декрета, что во время оного был таким необъятным, что там смог бы поместиться не один малыш, а целый класс, так что заподозрить Поллну в беременности не взялся бы даже мой папа, который работает в «кэгэбе», где знают всё про всех. Но Поллна махнула рукой на «кэгэбу», ушла в декрет, нацепив на «свои лядвеи» новенькие австрийские сапожки и сожрав венгерское ассорти (говорят, когда ждешь малыша, очень хочется соленького), – и распустила хор на все четыре стороны. Алиска Сусекина скривилась: «Мама ей ассорти носила, а она...» Не люблю я эту Сусекину: белесая какая-то. Когда мы строимся на линейку всем классом, Сусекина встает вторая, сразу после меня. «На первый – второй рассчитайсь!» Я поворачиваюсь лицом к ней: «Первый!» Она – к Вадьке Янькину (Вадька в строю третий): «Второй!» – и хлещет меня по щекам своей толстенной косищей, похожей на канат из пеньки. А когда Алиске кто-нибудь звонит, она важно снимает трубку: «Сусекина слушает», – так говорит ее мать-торгашка, а Алиска хочет стать такой же: повторяюша дядя Хрюша несчастная (некоторых, которые все время всё на свете повторяют, мы называем «повторяшами дядями Хрюшами: «Повторяюша дядя Хрюша из помойного ведра, тебя кошка целовала и

сказала, ты свинья!»).

На кого ж ты променяла меня, Аленка?..

«Ученице первого “А” класса, октябренку Чудиновой Тане поставить на вид...» Я просыпаюсь. Шестьдесят два выпущенных и два сощуренных полисьи глаза – Аленка, я слышу, как ты шепчешь: «Ну да, Таня?» – вперились в меня. «А что такое “поставить на вид”, Степанида Михайловна?» – почти беззвучно шевелит губами Лариска Кащенко. «Это значит, что мы осуждаем поступок октябренка Чудиновой. И впредь будем следить за ее поведением!» – решительно размазывает помаду по подбородку Степанида Мишка.

Мишка скребет по доске мелом «Второе сентября. Классная работа», я тихонько напеваю «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!», на парту, словно взъерошенная птаха, плюхается комочек в клеточку – разворачиваю: «Чюдинова давай с тобой дружить». Верчу по сторонам головой – тридцать одна рука старательно выводит «Второе сентября» в своих тетрадках следом за Степанидой Мишкой, рука Димки Шишкина ерошит смешной ежик волос, выгоревших на солнце. Сам Димка – губошлепистый: губы его похожи на двух слизнякав, – щедро припорошенный конопушками – исподлобья глядит на меня. Я улыбаюсь. Димкины слизняки расползаются в улыбке, обнажая ярко-красные десны, в которые маленькими острыми камушками вонзаются зубки. Ромка Бальцер ощетинился бульдогом, впился глазками-буравчиками, с ползающими в

них червячками, в Димку и побагровел, будто у него внутри разорвался и разлился по всему телу баллончик с краской.

«Шишкин!» – сиреной врывается в наши переглядки Степанида Мишка. «Кого?» – бурчит себе под нос Димка. «Не “кого”, а “что”! – строжится Мишка. – К доске!» Шишкин – кажется, у него на ногах кандалы – обреченно плетется к доске. «Все открыли учебник на странице три, упражнение номер один».

Анька Шпакова каким-то загробным голосом читает из учебника: «Прошло веселое лето. Наступило первое сентября. Сегодня все дети нашей Родины идут в школу». Она читает так, будто наступил Апокалипсис, а не первое сентября. Об Апокалипсисе я прочла в маленькой черной книжице с золотым крестом, которую я частенько достаю из секретера. Я достаю из секретера завернутую в «газетку» Библию – и ладони мои теплеют. Пока мама с папой ругаются на кухне («Прощелыга проклятый, где четырнадцать рублей?» – «Да пошла ты... Надоели, как собаки!» – «Только и знаешь деньги псу под хвост выбрасывать да москвича своего поить»), я шурушу тонкими пергаментными страничками – и сердечко мое бьется в такт прыгающим перед глазами строчкам: «Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей». «Хоть домой не приходи, – надрывается папа, – ё... твою в крестовину!» Папа («как бешеный таракан») вбегает в комнату. Я прячу книжицу с крестом за

спину. «Пап, а на погонах бывает семь звезд?» – спрашиваю робко. «Вот идиотина, а! – лыбится папа. – Учишь ее, учишь...» Папа снова убегает на кухню, а я заворачиваю заветную книжицу в «газетку» и прячу ее между брошюрами «Блокнот агитатора Красной армии» и «Кызыл армия агитаторы блокноты» (папа купил в “Букинисте”: «Последние взял, мать их за ногу»). «Я в партком пойду, – напирает мама. – Там тебе покажут крестовину!» Что-то упало, загремело... «Не трожь партком, ё...й в рот!» «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гусях своих...» Анька Шпакова загробным голосом читает: «Прошло веселое лето. Наступило первое сентября. Сегодня все дети нашей Родины идут в школу». Димка Шишкин старательно выцарапывает на доске то, что прочла Анька, но теперь уже под диктовку Степаниды Мишки: «Прашло висёлое лето...» «Ань! – тормошу я крохотную Шпакову, что сидит прямо передо мной (мальчишки зовут Шпакову Шипучкой: Анька немного шепелявит). – Ну Ань! А Апокалипсис когда наступит?» Шипучка вздрагивает, закрывает лицо руками – и пронзительно молчит. Мать ее – со скорбным лицом, обрамленным вечным черным платком, – запретила своей дочери говорить на «божественные темы с тёмными людьми», я сама слышала. «Ну Ань...» Крохотная Анька – глаза ее выпучены, губки поджаты – оборачивается, быстро-быстро кивает и отворачивается, утыкается личиком в тетрадку с кара-



кульками: «Прошло веселое лето...» Ну просто конец света, как любим... как любили говорить мы с Аленкой.

Звенит звонок. Димка хватает мой портфель и вихрем по коридору, я за ним. «Отдай!» – «А ты будешь со мной дружить?» – «Отдай, дурак!» Димка хохочет, показывает мне язык – и растягивается на бетонном полу, споткнувшись о подножку Ромки Бальцера: тот еще откуда взялся – багровый... даже не багровый – пурпурный, словно багряница Христа, и огненно-рыжие волосы горят нимбом? «Не будет она с тобой дружить!» – «Чё-о-о?» Теперь уже Ромка на бетонном полу. «Давай, Диман, бей его! Ромыч, вдарь! Ма́хач, ма́хач!» – обступают сцепившихся в клубок Димку и Ромку наши пацаны. Я стою у стеночки, прикрывшись портфелем, словно щитом. «Малы́е, чё маха́емся?» – интересуются Гофман с Обидиным из четвертого «Б» (эти Гофман и Обидин – второгодники несчастные, их всё никак в пионеры не примут).

«Да вон, из-за Чудиновой!» – Лёвка Бабашов кивает в мою сторону. «Это она вчера с линейки смоталась?» – округляет глаза Гофман. «Ага», – цокает языком Лёнька. «Симпóтная, – свистит Обидин. – Чудинова, а Чудинова, давай дружить!» Все девчонки в нашем классе – и Аленка, я знаю! – мечтают дружить со старшеклассниками, тем более с второгодниками! Эх, видела б меня Аленка... «Шуби́сь! – раздается вдруг над самым моим ухом. – Табуретка!» Пацаны срываются с места – по коридору чинно вышагивает на-

ша завучиха Нинель Поликарповна, а за стеклышками ее очков прыгают солнечные зайчики. Увидела меня, скривилась: «Опять Чудинова, ну надо же!» – и хлопает себя по ляжкам-раскорякам. «А чё я-то?» – бормочу себе под нос, прикрываясь портфелем. «А это ты узнаешь завтра!»

Но какое мне дело до завтра, когда сегодня... Я иду по коридору, солнечные лучики – вечер на дворе, солнышку пора отдыхать, а оно радостно катится по верхушкам деревьев и корчит мне рожицы – я иду по коридору, солнечные лучики золотистыми ленточками вплетаются в мои кудряшки, щекочут мой вздернутый носик, а на крыльце – я вижу их в окно – Ромка Бальцер, Димка Шишкин и Гофман с Обидиным: меня поджидают! «Чудинова, слабó тебе с нами за гаражи?» – кричит самый смелый, Санёк Обидин, тощий, долговязый, «бедовый», как говорит наша уборщица, тетя Паша: «Ох бедовый парень расте-о-от!» – улыбается и качает головой. «Пошли, а?» – губошлепит Димка Шишкин. «Да ну вас, надоели!» – кокетливо тяну я, а у самой сердечко сейчас вылетит – и за гаражи, за гаражи! И тут слышу: «Таня...» Кровь фонтаном к голове – Алеша! Стою... вот так Ромка Бальцер стоял: пурпурная, словно в багрянице... «Таня...» «Рёбзя, зырь, “Турист”! Клёвый велóс!» – А Алеша «гарцует» на новеньком велике: такому даже не простой смертный позавидует! Бальцер, Шишкин и Гофман с Обидиным облепили чудо техники: охают, качают головами, раздувают ноздри, бьют ребром ладони по шинам, клаксонят – Алеша мол-

ча смотрит на меня, потом резко отталкивает моих «четырёх мушкетеров» (я уже успела мальчишек так прозвать; все наши девчонки сходят с ума по Боярскому – Д’Артаньяну (мама моя говорит, что Боярский не поет, а «блеет»), и Аленка тоже сходит, я знаю, а мне нравится Атос – Вениамин Смехов: он и в фильме про Клаву К. играет; Ираида Николаевна, которая была в Париже: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – его на сцене Таганки видела, вместе с Высоцким (говорят, чтобы достать билетик, нужно стоять в очереди всю ночь!): «Какой актер!» – Ираида Николаевна молитвенно складывает руки и закрывает глаза), Алеша молча смотрит на меня, потом резко отталкивает моих «четырёх мушкетеров», кричит «Садись!» – и мы мчимся по школьному двору под свист и вздохи: «Ну Чудинова, ну ты ваще, блин!» (мы с девчонками любим говорить: «Не вообще, а в лапше!»).

А Аленка бы, Аленка бы непременно пропела: «Ну да, Таня?» Эх, жаль, что ты не видишь меня, Аленка, не видишь, как я еду с Алешей, восседая на багажнике моднячего велика, как Шишкин, Бальцер и Гофман с Обидиным бегут следом, расстреливая нас из самодельных трубочек, как Табуретка выглядывает из окна и лукаво улыбается: «Ну-ну!» – словно вождь с трибуны Мавзолея. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – тихонько пою я в Алешину спину: какое это счастье – обхватить Алешу сзади, прижаться к нему, родному, теплomu...

А потом кататься весь вечер по городу, вернуться домой в одиннадцать, получить от мамы по губам – и кинуться ничком в постель под Галинкины взгляды исподлобья, папины матюки и бабушкины причитания: «Эх Танюха ты горюха!»

Я большая, я совсем большая! Я стою перед этим сборищем теток и дядек (если честно, дядька всего один – это наш директор Сергей Леонидович, «слизняк заикастый!») – и эти тетки и дядьки бросают в меня камни: «сорвала торжественную линейку», «презрела нормы», «недостойна высокого звания октябренка», «советские дети так не поступают», «опозорила честь школы», «фривольно ведет себя с мальчишками»... Мама – ее уже зажала в коридоре своей квадратной жопенью Табуретка и пригрозила исключить «вашу асоциальную дочь» – мама, опрысканная духами «Дзинтарс», в новеньком голубом кримпленовом костюме (вот вырасту – куплю себе такой же костюмчик!), в белых лакированных туфлях с пряжками – сидит точно пришибленная. Папа – он уже стукнул по столу Сергея Леонидовича и звякнул медалькой «50 лет ВЧК» – рыскает глазами по лицам «бросающих камни» и отчаянно грызет ногти. Вдруг дядька – Сергей Леонидович – заткнул уши пальцами, затряс головой и по слогам выдавливая из себя: «Т-товарищи, п-п-подождите! Это суд Линча к-к-какой-то!» Я не знаю, что такое суд Линча, Степанида Мишка, завучихи Табуретка и Дина Семеновна – кажется, тоже: они «выпучили шары» (Степанида Мишка размазала помаду по подбородку) и устали на

Сергея Леонидовича так, будто это Ленин спрыгнул с портрета и забрался на броневик (я в каком-то фильме видела... странно, все называют Ленина дедушкой, а какой он дедушка: лихо забирается на броневик, лихо машет руками и лихо «разоблачает врагов») (это папа так говорит)).

«Т-таня, ск-к-кажи, – палит из пушки Сергей Леонидович, пока тетки рты раззявили, – т-тебе нравится учиться?» В воздухе повисла огромная жирная пауза, будто клякса, которая вот-вот плюхнет к кому-нибудь на плешь. «Очень, – вздыхаю я (тетки выдыхают), – но не в школе». Тетки набирают воздуху в легкие и выпячивают свои «выдающиеся бюсты». Сергей Леонидович испуганно пригибает голову («как из-за угла мешком пуганый», сказала бы сейчас про этого «слизняк несчастного» мама, но она и сама сидит как пришибленная), Сергей Леонидович испуганно пригибает голову, словно это ему на плешь плюхнулась жирная клякса. «В школе неинтересно, – разбузыкиваюсь я всё больше и больше, – а в учебниках пишут всякую муть с жутью (мама покрывается темными пятнами, словно далматинец), я это и так знаю». «А к-к-какие книги т-ты читаешь?» – Сергей Леонидович уже не рад, что связался со мной: лоб его покрывается испариной, очки запотевают, он трясет головой, точно «кобыла необъезженная» (бабушка так говорит: «кобыла необъезженная» – когда я разбузыкаюсь и начинаю дурить) – а я медленно начинаю загибать пальцы: «”Легенды и мифы Древней Греции“ (Сергей Леонидович надменно глядит

на теток: что, съели?), "Занимательную арифметику" Якова Перельмана (тетки задирают носы: подумаешь!), "Speak English" (Степанида Мишка фыркает), стихи Владимира Высоцкого (Сергей Леонидович поправляет очки на носу, тетки переглядываются: нет, ну вы гляньте на нее, бесстыжая!)...»

И только я хочу произнести «Библию» – я даже успеваю пропихать «Би...» – как перекошенное папино лицо бьет меня током. «Если спросят, что папка принес, скажи, Устав КПСС», – эхом отдается в моей голове. Папа – они с мамой сидят на задней парте, как двоечники – презрительно покачивает головой: эх ты, предатель... «Д-достаточно, Т-таня, – обрывает меня Сергей Леонидович, – нам всё п-п-понятно». «Что вам понятно, Сергей Леонидович?» – подает голос Дина Семеновна с выдающимся бюстом: голос у нее глухой, габариты внушительные, и я, если честно, побаиваюсь ее (я называю Дину про себя Горынычихой – но об этом не знает никто, даже Аленка). «П-понятно, что Т-таня развита не по г-годам», – огрызается Сергей Леонидович. «Вот именно!» (ми-до-до-до) – стреляет глазами Горынычиха. «Вот именно!» (ми-до-до-до) – подхватывает Степанида Мишка. «И что вы предлагаете?» – скрипит Табуретка. «Что п-п-предлагаю? – Сергей Леонидович чешет переносицу. – Д-думаю, Т-тане не место во втором к-к-классе». Бедная мама, она вытирает пот со лба новеньким крепдешиновым шарфиком. Папа отчаянно грызет ногти. «Вот и я говорю: исключить!» – вопит Табуретка. «Исключить!» (си-си-

си) – басит Горынычиха. «Исключить!» (си-си-си) – поддакивает Степанида Мишка. «А я с-с-считаю, – Сергей Леонидович испуганно озирается по сторонам, – что Т-таня... что Т-таня... – он смотрит на меня с нежностью (вот бы Аленка увидела – умерла бы от зависти!). – ...что Т-таня («заблеял», слышу я мамин шепоток)... не т-такая, как все! И к н-ней н-нужен особый п-п-подход! М-может, из нее вырастет н-н-новый Эйнштейн... или Н-н-нейгауз... или...» «Уважаемый Сергей Леонидович! Я сорок лет в школе! – заводит Табуретка. Горынычиха и Степанида Мишка почтительно кивают: мол, чистая правда! – А вы у нас, если не ошибаюсь, года два всего». «А у меня в классе почти сорок человек! – встречает Степанида Мишка. – И если я к каждому буду подходить по-особому, как вы говорите, то мне урока не хватит!» А за окном дождь. Он барабанит по стеклам своими длинными пальцами – тоже мне, Нейгауз выискался – и стекла дребезжат соль-соль-ля, соль-соль-ля.

«...а эта засранка, – кричит мама в телефонную трубку вечером, – а я, говорит, Высоцкого читаю! Эти бабищи чуть не лопнули! А этот, заикастый: она, говорит, у вас особенная! – мама хохочет. – Ага, не говори: отборные продукты жрать она особенная! И на мать гавкать! И в кого растет... Ясно, в кого: вся в отца, семя прбклятое, – мама говорит тихо, закрывая рукой трубку. – Карты у него в кителе нашла: с голыми бабами (мама любит шарить по папиным карманам: то деньги найдет – вытащит («вот прощелыга чертов, занач-

ку себе оставил»), то украшения: серьги с камнями, кольца, браслеты («проституткам своим покупает»), то кожаные портмоне («а сам как ремошник ходит, с драной авоськой»), а раз бумажки нашла, в потертом коричневом конверте, а на конверте написано «Отец Анненков П.А.» («Анненков Петр Александрович, – бормотала мама, не обращая внимания на меня, – родился в 1898 году в селе... место работы... счетовод... арестован...») – вдруг она замолкла, зыркнула на меня: «Ну чего рот раззявила?» – я юркнула в дверь, а вечером мама кричала, мельтеша бумажками перед папиным носом: «Ах ты прощельга ты чертов! Отца он ищет, по всему Союзу мотается (а я ничего не знаю: папа говорит, что его отец погиб на фронте – а у него, оказывается, фамилия декабриста!)! Да твой отец тюремщик! Да я...» – дверь вздрогнула, лязгнула зубами, взвизгнула – я перестала различать слова, слышала только глухие звуки, потом что-то упало, потом мама завывала, как собака)), карты у него в кителе нашла: с голыми бабами! – мама не то смеется, не то плачет. – Ага, не говори, Дусь, убила бы. И эту... “особенную”! Ну что делать? Что делать – каждый день уроки сдавать на проверку, сказали («Мы посоветались и постановили, – читала по бумажке Табуретка, верша мою судьбу, – объявить ученице второго класса “А” Чудиновой Тане выговор и обязать ее каждый день в течение первой учебной четверти отчитываться в выполнении всех домашних заданий учителю второго класса “А” Невוליной Степаниде Михайловне»), – каждый день



уроки сдавать на проверку, сказали, – кричит в трубку мама, – пусть теперь только попробует пошлындать, я ее... такая же шалавая растет, как ее отец».

Роль Цербера досталась бабушке. «Танчишка, а ну учи уроки, – ворчит она и стягивает с меня одеяло, – а то матерь придет – семь шкур с тебе спустит». Лучше уж одеяло стянуть, чем семь шкур спустить, – и я встаю, ем манную кашу (обожаю бабушкину манку на топленом молоке с маслом, особенно я жду того момента, когда бабушка кипятит молоко и оно покрывается пенкой: обожаю пенку, и мама моя ее обожает: раньше, давным-давно, она даже думала, что Сталин ест одни пенки! – а когда он умер, рыдала: «Да на кого ж ты нас оставил, отец наш!»), я встаю, ем манную кашу и сажусь за уроки. Первую четверть я оканчиваю на одни пятерки. «То шляется невесть с кем, – буравит меня мама своими глазищами (когда мама маленькая была – сама рассказывала – в школе ее Глазánом прозвали: «на лице одни глаза и были, – плакала мама, – жрать нечего, кожа да кости – пучки жрали (это такие травки, от которых живот пучит), чтоб брюхо набить, – мама хлопала себя по животу, – набьем – и пукаем на всю избу»), – то шляется невесть с кем, а то как волчина из-за угла выглядывает (Галинка, которую мама обычно называет волчиной, хрустит кукурузными палочками, краснеет и глядит исподлобья)».

Не знает мама, что каждое утро ко мне приходит Алеша! Не знает, что бабушка «грех на душу взяла, повитуха я ста-

рая» и «этого пушаю», «покуда мать на работе». А он приходит – щурит глаза, очки ленноновские сползают к носу, морщит нос, губы шершавые, долговязый, сутулится – приходит, и я ликую: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» «Танчишка, не будешь уроки учить, выгоню твоего Лёньку... или кто он там – к едре не матери!» И я сижу над учебниками, упорно сижу. Алеша обычно приходит в полдень (в полдень бабушка включает радио «на всю Ивановскую» (она так говорит, когда я пою: «Орет на всю Ивановскую» или «орет как сивый мерин»)), бабушка включает радио и, подперев щеку рукой, слушает передачу «В рабочий полдень». Она любит, когда ставят пластинки Лидии Руслановой: «Вот это певица так певица, – вздыхает и сначала тихохонько, потом всё громче и громче подпевает: – Липа векова-а-а-а-йа-а-а». Я пою вместе с ней. И вот мы «орем на всю Ивановскую» – и приходит Алеша. Он стоит у порога (дверь у нас, когда мамы и папы нет дома, открыта: «Кому вы нужны с вашим добром? – ворчит бабушка, когда мама «стрóжится» на нее: «Ты что, пó миру нас пустить хочешь?» – «Да гори оно синим пламенем, добро ваше, – ворчит бабушка. – Всю жизнь в деревне прожила – отродясь йзбу не запирала, а она (это мама) городская стала, фигурует!»), а Алеша стоит у порога и поет «Липу вековую». Спели. Бабушка утирает слезы краешком платка. «Ишь ты! – это она Алеше, и в глаз ему заглядывает. – Ну ладно, чего глотку-то драть? Голодный, небось? И эта, хи-

вря, – она ласково косится на меня, – с утра, как села уроки учить, так и сидит не евши не пивши». После бабушкиных пирогов и расспросов: бедный Алеша («А мать твою где работает?», «А отец живой?», «И бабка есть? Ишь ты!») – мы идем в детскую, закрываем дверь («Да нужны вы мне больно», – ворчит бабушка и шаркает на кухню)... сердце мое замирает... нет, не замирает – оно расширяется, расширяется, словно Вселенная: к моим губам прикасаются шершавые Алешины губы... Это... это просто «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» «Алеша, – расширяюсь я вслед за сердцем, – но мы же еще дети (когда я была маленькая, совсем маленькая, я говорила «деть» вместо «ребенок»: «Я еще деть», – говорила я маме, когда она ворчала: «А ну прибери свои игрушки, засранка!» – мама злилась: «Работать ты мальчик, а жрать мужичок!»), но когда после программы «Время» шел фильм про любовь и я «гундела»: «Не буду ложиться! Я уже взрослая!» – мама цыкала: «Двенадцатый час на дворе! А она разбузыкалась! Все дети как дети: спят уж давно! А ну ложись сейчас же, шалавая растет, вся в отца!»), Алеша, но мы же еще дети...» – расширяюсь я. «Чушь собачья! Кто тебе это сказал? – Алеша делает бровки домиком. «Не знаю, взрослые говорят. Мама моя говорит: вот вырастешь...» «Да какие они взрослые? Парик с погонами нацепили и думают, что взрослые, а сами... – Алеша снова целует меня. – Мы взрослые, поняла? Мы!» Я киваю: взрослые, мы – взрослые! – и продолжаю расширяться...

Я расширяюсь и расширяюсь. Дневник мой пухнет от пятюрок. Аленка – отличница несчастная – косо поглядывает на меня, аж косички колом встали, и в ее взгляде я читаю: «Ну да, Таня?» Бальцер, Шишкин и Гофман с Обидиным караулят меня после школы и молча провожают до подъезда. Мне звонит шестиклассник Валерка Варнавин – он живет в нашем доме и учится в спортивной школе, отец научил Валерку водить машину и дает ему свой новенький красный «Жигуль», наши девчонки – те, кто в китайской стене живут, от Варнавина без ума («такой лапочка», «симпóтный» – поют девчонки и воображают перед Валеркой), а я его боюсь: «Чудинова, – басит Валерка, – покататься хошь? Выходь». Валерка огромный, словно шкаф, у него маленькие глазки и низкий лоб, отец у Варнавина тренер, вечно по заграницам мотается, фирму́ привозит, Валерка носит модные джинсы и кроссовки «Адидас» («Кто носит фирму “Адидас”, – орут наши мальчишки, жадными глазами глядя на Валерку Варнавина, – тот самый первый п... рас!») и сплевывает каждый раз, как я прохожу мимо. «Чудинова, выйдешь?» Я бросаю трубку. Варнавин упорный: «Чудинова, я тебе жвачку (мы с Аленкой жвачку «жёвкой» называем, мы жуем жёвку до изнеможения, скатываем ее в огромный серый шар и подкладываем под задницы одноклассников – фиг отдерешь), Чудинова, я тебе жвачку подарю. Выйдешь?» Я снова бросаю трубку. Варнавин не унимается. Мимо проходит папа, в руке у него бутерброд с «колбаской»: «Кто это там трезвонит, рас-

туды его етита?» – чавкает папа и выхватывает из моей руки трубку. «Здравствуйте, – доносится до меня бас Валерки, – а Таня дома?» Я ныряю в детскую, я не могу отдышаться. «Таня не хочет с тобой говорить, понял?» Валерка бубнит что-то, в висках моих стучит. «Я тебе щас глаз на жопу натяну! – орет папа. – Ё... твою в крестовину!» Я сижу как пришибленная. Теперь, стоит мне пройти мимо Валерки Варнавина, он выпучивает свои маленькие глазки и шарахается от меня как от чумной.

«Таня Чудинова осознала свои ошибки, – Степанида Мишка торжественно размазывает помаду по подбородку, – и взялась за ум. Надеюсь, в дальнейшем она не заставит краснеть своего отца». Степанида Мишка с восторгом глядит на моего папу – папа сидит за первой партой. По случаю родительского собрания он надел форму, а на погонах его красуется... да-да, это она – майорская звездочка! Папа стал майором! И потому он то вдруг поведет плечом, то невзначай смахнет пылинку или муху назойливую с горящей золотом новехонькой звезды (звездочку эту только-только обмыли, только-только Рыжов с Хохриным «лакали водку, прощелыги чертовы» за вновь испеченного майора и «ковер импортный заблевали: дура была, со стены сняла!») – и сияет, сам сияет как та звезда! А и есть чего сиять-то! На блокпосту вырос, в бараке – папа сам рассказывал (папа, когда подопьет – язык и него и развязывается).

Вот мать на работу идет, а их с младшим братом дядь Са-

шей, или Шуриком, – на обороте старых пожелтевших карточек, где маленький папа обрит и обряжен в косоворотку, а брат его беспощадно косит, так и написано: «Жорик и Шурик» (я этого «Шурика» пару раз в жизни всего и видала: «как волчина чертов выглядывает, – рычит мама, – ни друзей ни товарищей», а Галинку – «дядь Саша чертов» называет, когда она запрется в детской и сидит «как медуза расплывчатая, конфеты жрет, нет чтобы с женихами встречаться»), мать на работу идет, а их с младшим братом дядь Сашей в садик везет, в железной ванне. Война. Голод. Дали матери к какому-то празднику кулек сахара. Куда спрятать, чтобы маленькие оглоеды не сожрали? Привязала она этот несчастный кулек к лампочке (люстр в бараке на блокпосту не было, да какие там люстры – кровати путней не было, на полу спали), привязала и на работу ушла. Папа с маленьким Шуркой ходили-ходили вокруг сахара да смекнули: проткнули кочергой кулек и по очереди, задрав мордочки кверху и раскрыв свои голодные рты, «вкушали манны небесной» (так в Библии сказано), вкушали до тех пор, покуда оба не упали в обморок. Очухались и остатки сахара доедали уже с пола, усыпанного углем (уголь тот воровали, на продукты его меняли). Пришла мать с работы, а они блюют «черным сахаром» (так папа говорил).

Есть теперь, чего сиять-то! Все папины блокпостовские дружки «по тюрьмам пошли», а папа нынче не где-нибудь, а в «кэгэбе»!

«Надеюсь, в дальнейшем Таня Чудинова не заставит краснеть своего отца», – Степанида Мишка с восторгом глядит на моего папу и вручает ему грамоту «За воспитание ученицы второго “А” класса средней школы номер девяносто шесть Чудиновой Тани», а мне – «За отличную успеваемость и примерное поведение».

Ночь на дворе. Я долго не могу уснуть, потом падаю в какую-то яму. Вдруг тревожно, словно в него попала соринка, замигал лампочкин глазок («Прощельга, люстру повесить не может, только и знает москвича поить и “Луку Мудищева” перепечатывать! Я в шесть часов встаю, весь день не разгибаюсь на этом заводе чертовом, а он одним пальчиком на машинке “Луку Мудищева” печатает!» – печатает, а потом прячет пухлый сверток в секретер – мы с мамой и Галинкой находим, читаем: «Человек и человек – люди. / Яйцо и яйцо – муди» – мама плюется: «Тьфу, шимпанзюка чертов!», хватая “Луку Мудищева” за шкурку и швыряет его в помойное ведро, словно шкодливого котенка, мы с Галинкой краснеем: я не знаю, что такое “муди”, но бабушка, когда папа «фигуряет» по квартире в одних семейных трусах, напевая «А здравствуй, милая моя! А ты откедова пришла?» – качает головой: «Ведро пустое! Девчонку бы постыдился: муды свои славит!», папа хохочет и заливается пуще прежнего: «А ты, бабуся, не волнуйся, а всё у тэбе впереди!»), – вдруг тревожно, словно в него попала соринка, замигал лампочкин глазок. Бабушка заахала, Галинка ворочается. «Дядь Федор умер! –

толкает меня в бок она. – Спи!» – «А ты куда?» Галинка исчезает в дверном проеме вслед за бабушкой. Свет гаснет. В коридоре на стене мечутся тени. На похороны меня не берут. «Мала еще, – говорит бабушка, – успеешь на мертвяков наглядеться». С поминок приносят кутьи и блинов. «Мож, хошь вздохнет чуток, Василиса-то (Василиса – это моя тетка, вдова дядь Федора), всю кровь у ей выпил, водовки ему мало», – покачивает головой бабушка, наблюдая за тем, как я выбираю из кутьи изюмины. И той же ночью дядь Федор является мне во сне: «Отдай мне, – говорит, – рыбку и кубики, – жалостливо так говорит, – а я тебе фокус-покус покажу!» – я рот раззявила, а он мигнул мне с карты и исчез.

Утром глаза открываю – тетя Шура! Приехала! Редко она к нам навевается из-под Кургана своего (село у нее чудное: Кетово называется), а уж как навевается – у нас останавливается. Сестра она мамина младшая («меньшуха» – так называет ее бабушка), а только не похожа она ни на маму, ни на теток, ни на дядь Гену, ни даже на бабушку – другая она, светлая! И говорит напевно так. «Опоздала я, – говорит, – на Федины похороны. Уж не казните! (ре-ре-рэ-ми-ре, ре-ре-ре-рэ-ре)» «Да пес с им, с этим пьянчуткой, меньшуха! – бабушка ей. – От своего изверга отдохни!» («Не подфартило моим девкам с мужиками, – «жалится» бабушка, – почитай все пьянчутки».) Теть Шурин дядь Гриша (я этого дядь Гришу раз только и видела, когда была маленькая: увидела, глаза руками закрыла – не хочу, мол, тебя, уходи!), тетя Шурин



дядь Гриша «шары зальет» и за руль (шофер он).

Сколько раз засыпал в дороге – «ни один черт его не берет». «И на кой ляд ты от родни уехала, а? – причитает бабушка, когда приезжает ее блудная дочь. – Здесь тебе, что ль, пьянчуток не хватало? На край света уехала!» (когда я была маленькая, такая маленькая, что еще ни читать, ни писать не умела, я думала, что Кетово... не Кетово, а Китово, и потому на трех китах стоит (эту сказку про трех китов мне бабушка рассказывала), а само село – край света и есть).

А тетя Шура блаженно так улыбается, и глаза у нее винновато-теплые.

«Теть Шура приехала! Теть Шура приехала!» – кричу я, соскакиваю с постели и ну бегать по комнате, ну прыгать – головой об полку бум-м-м – искры из глаз! «Там и так пу-стёхонько, – бабушка постукивает по голове, – того и гляди, последнее зернышко выветрится». Ну и пусть выветрится! Только бы тетя Шура не уезжала! Вечером мама придет с работы, заплачет, кинется «родимой сестреночке» на грудь, и голос у нее будет другой, у мамы, – нежный, тихий, ласковый! И я, словно зачарованная, буду любоваться ее красотой! И подойду к ней, и она меня приголубит, и в лобик поцелует, и «Чудушком» назовет... Мы накроем на стол, и на столе этом не будет ни красной икры, ни балыка, ни копченой колбасы – будет только еда, которую едят простые смертные: картошка в мундирах, огурцы, укроп, редиска, лук, квас, черный хлеб. И мы затянем песню, кото-

рую «шибко» любит бабушка: «Отец мой был природный пахарь...» И я буду, как взрослая, сидеть за столом и петь «Отца-пахаря» на второй голос, а мама с тетей Шурой всплакнут: «Артистка растет». Придет ночь – и мы постелем тетю Шуру на полу (обожаю спать на полу на бабушкиной перине!), мама подляжет к ней, они станут шептаться тихими журчащими голосами («Куда я пойду? – прожурчит мама, думая, что я не слышу, а я всё слышу, я рядом, просто боюсь спугнуть ее, эту маленькую беспомощную девочку – а она и впрямь становится девочкой! – Куда я пойду? – прожурчит мама. – И кто меня возьмет с девчонками?» – «Никому-то мы не нужны...» – прожурчит тетя Шура), и тогда я разбежусь и юркну между ними в теплую середку, и они обе по очереди будут гладить меня по головке, а по моим щекам потекут слезы – так и уснем все вместе, обнявшись. Время пролетит как беркут – и вот мы уже на вокзале провожаем тетю Шуру. Поезд («вражина проклятый», кричит бабушка и утирает оплывшие глаза), поезд-вражина уносит тетю Шуру «на край света», я подскакиваю, мчусь следом – прыгаю прямо на стекло, к которому прильнула тетя Шура, на мгновение встречаюсь с нею «глаза в глаза»: они у нее огромные, от ужаса! – падаю, разбиваю в кровь коленки! Папа подхватывает меня под ручки, орет: «Идиотина, б...дь!» Мама – поезд еще маячит вдалеке и ревет белугой – «кидается на девчонку как собака»: «Мать в гроб хочет загнать, скотина такая! Надо было мне – как родилась – на одну ногу наступить, за другую потянуть!»

Но пока тетя Шура у нас, я склоню ей головку на плечо: «Не любит она меня (это я про маму говорю)!» А тетя Шура ни слова не говорит: не попрекает, не цыкает – а только дышит в темечко, дышит так горячо – и душа моя согревается. И про Алешу ей рассказываю: «А Алеша меня любит! У нас любовь, как у взрослых!» И тетя Шура опять дышит, улыбается и дышит...

Неделю с ним не виделись, пока тетя Шура не уехала, – пришел. «Таня», – говорит. И смотрит. Даже бабушка прослезилась: «Соколик ты мой!» И на кухню, сковородками-кастрюльками гремит: фа-до-до, ми-ре-ре, фа-до-до, ми-ре-ре. А потом на улицу вышли – дядь Саша, милиционер: плешь свою платочком носовым протирает, зубом сверкает золотым. «А я гляжу, кто это такой важный? А это Татьяна Чудинова. С кавалером!» Цыкнул, в арку юркнул. Прихожу вечером домой – на кухне сидит, чай с блюдца пьет. «Хорош чаек, – цедит сквозь свой зуб золотой, – и что вы туда добавляете, а, баушка? Не зелье случаем?» «Да какая я тебе баушка, тоже мне, внучок выискался!» – это бабушка дядь Саше. И ни мамы, ни папы нет. Галинка в комнате детской закрылась: вижу, свет горит. Конфеты, поди, уплетает. Бабушка мне бровями показывает: ступай, мол, с глаз долой! Я в детскую торкнулась – закрыто, барабаню в дверь (до-до-до-до-до) – Галинка не пускает. Что делать – сижу в зале, учебник читаю (учебники эти для малышни какой-то пишут, ей-богу):

«Наступил вечер. Елка была уже украшена. – (Новый год скоро!) – Все игрушки делали сами ребята. Тут были медведи, зайцы, слоны, салазки. Елка сверкала огнями. Вошел Дед Мороз и рассказал ребятам сказку. Началась веселая игра в кошки-мышки. Вдруг в комнату внесли большую корзину с подарками. Кому достался автомобиль, кому – кукла, кому – барабан». А дядь Саша с кухни: «Плесните еще чайку, Татьяна Егоровна. Уж больно хорош». «Да чакай, жалко, что ль?» Дядь Саша чакает – в зале слышно, как он причмокивает: так причмокивают малыши, когда сосут мамкину титьку! «Что-то ваши-то не торопятся». – «А куды им торопиться?» Да уж скорее бы пришли – а то это дядь Сашино чакание хуже дамоклова меча (об этом мече дамокловом я у Ашукиных – смешная фамилия! – в книжке прочла, «Крылатые слова» называется).

«Ну это как посмотреть, Татьяна Егоровна!» – и чакает. «Да надоел ты мне хуже горькой редьки! Ступай вон на Верку свою смотри – чего на мене смотреть!» «Успеется, Татьяна Егоровна! – и снова чакает, своим «дамокловым мечом»! – А смотреть я обязан. Вот ваша внучка...» «Ты мою внучку не трожь!» Ноги мои словно из ваты: мы вату вокруг елочки кладем – это снег! – и посыпаем конфетти... Сейчас он про Алешу скажет... «Ничего с ней не случится. А я обязан сигнализировать». «Вот и сигнализируй своей Верке. Нечего к добрым людям среди ночи вламываться. Одиннадцатый час – мать Божья! – одиннадцатый час на дворе!

Ступай, кому я сказала!» Звяканье чашки о блюде – ми-ре, ми-ре... Будто на пол что упало... И возня... мыши так шуршат... Передвигаю ноги, а на них кандалы... страха... Вижу, бабушка что-то сует дядь Саше в карман. Тот красный, фуражку снял, лысину платком трет, волосина, что обычно плешь прикрывает, болтается, словно веревка. «Татьяна Егоровна, я при исполнении!» – «Ну и пес с тобой!» – «Татьяна Егоровна!» – «Бери и ступай к едрене матери!» Бабушка с силой заталкивает что-то дядь Саше в карман. Тот «шары выпучил», рот раззявил и шипит. Потом вздрагивает: кто-то вставляет в дверь ключ. «Смертушка моя пришла! – бабушка крестится. – Прости Господи, грех на мне!» Папа – с мороза щеки горят, при полном параде, медальки звяк-звяк – вваливается на кухню и оседает, словно пустой мешок, на табуретке: «Фу, лифт, собаки, отключили!» Мама – в парике и в белой пуховой шали – утирает пот со лба, ставит на стол сумку, выдыхает холодок: «Как ишак на себе тащила. Только не жирай сразу». И зыркает на меня. Дядь Саша бросает на маму голодный взор, будто это она для него «тащила» «как ишак» – а что тащила, пока не знаю. Вытаскиваю из сумки сверток – новогодний подарок в красивой картонной коробке (такие только в кэбэе дают)!

«Что бы вы все делали без отца?» – папа покачивается на табуретке, мама обреченно машет рукой и шлепает с кухни в комнату: на дядь Сашу ноль внимания. «Здравия желаю, товарищ майор!» – робко пищит дядь Саша (вот так же Аленка

пищит, ей-богу!).

«И я говорю, – папа вот-вот рухнет на пол. – Разве простым смертным такие подарки дают, а?» «Никак нет, товарищ капитан!» – дядь Саша лупит ладошкой по виску. «Тото! Вот тебе, Сашок, подарок подарили? – Дядь Саша мотает головой: нет, мол. – А я что говорю?» Папа клюет носом, всхрапывает. «Давай отсюда! – шипит бабушка на дядь Сашу и тянет его за рукав к двери. – Ночь на дворе». Мама – без парика и пуха – вырастает в дверном проеме, сладко зевает: «А тебе чего надо-то, Саш?» «Так я, Нюрочка, – дядь Саша вырывается из бабушкиных клешней, – того, я... Татьяна-то ваша опять загуляла, так сказать...» Дядь Саша стреляет в меня оплывшим глазком. Я прикрываюсь картонной коробкой – на ней нарисована елка с красной звездой на верхушке – словно щитом. «Ты почему еще не в постели?» – рычит мама – папа вскрикивает со сна: «Кто здесь?» «Младший лейтенант Давыдкин!» – рапортует дядь Саша. «Смирно!» – командует папа. «Прощельга проклятый, и эта шалавая растет», – бубнит мама и пытается стянуть с папы шапку и шинель – тот машет руками перед маминым носом: «Отставить! Отвечать по форме!» Мама – чертыхаясь «прощельга чертов, залил шары, и эта шалавая растет, матери завтра в шесть часов вставать, а они, собаки проклятые!» – зевает во всю ширь рта и ушлёпывает прочь. Дядь Саша надувает грудь, по-рыбьи пучит глаза: «Товарищ майор, ваша дочь Чудинова Татьяна...» «Врет он всё, – встречается бабушка, – не было

ничего». «Как это не было? Я сам видел!» – дядь Саша вытирает лысину – она блестит, словно паркет в кэгэбэшном санатории. «Да что ты видел-то? Рупь ты видел, вот что!» «Да я...» – дядь Саша двумя пальчиками вытаскивает из кармана смятый рубль и, безглаголю морщась, отбрасывает его «к едрене Фене», словно это не рубль, а тряпка, которой стирают с классной доски каракульки, начерченные мелом (мы на переменках друг в друга мокрой тряпкой кидаемся, до тех пор, пока Степанида Мишка не войдет в класс, – кто последний не успел увернуться, тот стрём (недавно я была стрёмом, а Заходер с Гёрисом – дураки несчастные – орали на всю Ивановскую: «Чуда-Юда стрём! Чуда-Юда стрём!»)).

«Ах ты гнида паршивая! – рычит папа. – А ну встать!» Дядь Саша – с него льет в три ручья! – плюхается на табуретку. «Георгий Иваныч... я...» «Я тебе глаз на жопу натяну!» – буйнит папа. Бабушка крестится: «Слава тебе Господи, обошлось!» – хватает меня за руку и тащит в крохотную спальню: Галинка уже десятый сон досматривает. «И больше твою пущать не стану, и не проси!» – строжится бабушка. Я без сил падаю на постель и досматриваю одиннадцатый сон, который витает над моей головой, – и в этом сне мы с Алешей увертываемся от мокрой тряпки, которой в нас запустил дядь Саша, а папа натягивает на его толстую задницу свою майорскую звездочку. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!..»

На календаре 27 декабря, на термометре 27 градусов ниже

нуля, окна покрыты причудливым ледяным узором – сквозь толщу льда не разглядеть, что там, за окном (иногда мне кажется, что мамино и папино сердца схватились плотным узористым льдом, а разбей ты этот лед – и сердец-то никаких нет...).

Я сижу в классе с открытым ртом – и еще тридцать два рта открыты в предвкушении оценок за вторую четверть и за полугодие, которые вот-вот объявит Степанида Мишка. Она размазывает помаду по подбородку, чешет голову, расковыривая пальцем лаковую корку на прическе (с этой лакированной прической Мишка похожа на рыбу с начесом).

«Алексашкина, – трубит Степанида Мишка. Ленка Алексашкина вздрагивает (боится, наверное, своей трехгорлой бабки). – Русский – четыре, чтение – четыре, математика...» (Завиток узора на окне напоминает твой профиль, а вот эти два кружочка будто стеклышки твоих очков...)

«Буянова, – Степанида Мишка выпучивает глаза, размазывает помаду по подбородку. – Русский – пять, чтение – пять, математика – пять, пение...». Степанида Мишка разряжает обойму пятерок в нас, полоротых, ожидающих своей участи. Аленка – косички топорщатся – косится на меня, я улыбаюсь – ее рот расплзается в улыбке, но тут же улыбка превращается в куриную гузку, Аленка опускает глаза, отворачивается, шепчется с Сусекиной. «Кузьменко, – Кузя округляет глазки – на куклу похожа. – Русский – три, – Степанида Мишка делает акцент на цифре «три», пялит на Ку-



зю свои рыбы глаза, – потому что не старалась: ветер в голове! Чтение – пять...» (Интересно, вам тоже сегодня объявляют оценки?.. Я скучаю по тебе, скучаю... Желтая луна, пятнышко на платье...)

«Пеньков... Сусекина...» (А Эдит, помнишь? Я тогда говорю ей: «Они такие глупые, а им пятерки ставят. А мне...» А она: «Так пятерки не за ум ставят. И не за талант». – «А за что?» – «А за то, что эти глупые умеют лизать жопы и заглядывать в рот». А тут мама твоя: «Эдит Марковна!!!»)

«Чудинова! – Ромка Бальцер плюет в меня жеваной бумагой: разуй уши, мол! – Чудинова! – сифонит Степанида Мишка. – Битый час ей кричу – ноль внимания. – Она расковыривает корку на своей прическе, размазывает помаду по подбородку. – Успеваемость – ничего не могу сказать, но поведение...» – И без паузы разряжает в меня обойму... мамочки, одни пятерки!!! «Шишкин... Шпакова... Янькин...» Сижу вся мокрая: жарища! – в волосах жеваная бумажка: Бальцер, Шишкин, Заходер с Герисом устроили «салют» в мою честь – заплевали из трубочек – сижу и боюсь пошевелиться.

«Дорогие ребята, – губы Степаниды Мишки, вымазанные помадой, расползаются в улыбку, – я поздравляю вас с окончанием второго полугодия. По его итогам, – Мишка плятится в классный журнал, – у нас... две отличницы – девочки, встаньте, выйдите к доске». Мы с Аленкой – красные, глаза потупили, у меня в волосах еще эти пульки бумажные ду-

рачкие – выходим к доске и встаем друг против друга, словно дуэлянты (вот так, друг против друга, стояли Печорин с Грушницким, и я, конечно же, хочу быть Печориным).

«Я поздравляю вас с отличными оценками, а Алену Буянову еще и с отличным прилежанием», – Степанида Мишка зыркает на меня своими рыбьими глазами. Мы с Аленкой-Грушницким продолжаем стоять у доски: я замечаю, что ты немного подросла, Аленка, что волосы твои потемнели, что сапожки у тебя новенькие, и смущенно улыбаюсь тебе! Ты делаешь мне навстречу маленький шажок. Ну давай мириться! Я тоже делаю маленький шажок («Становитесь», – слышу я призыв к дуэли).

Звенит звонок. «Каникулы, шубись!» – орет Герис, ему вторит Заходер, затем орут уже все, не разберешь! Каникулы! Целых две недели! Аленка – ее оттолкнул от меня Димка Шишкин, а сам хватает меня за крылышко на фартуке – протягивает руку, словно тонет. Я пытаюсь «спасти» Аленку, но толпа ликующих подхватывает меня и выносит в коридор. Каникулы, шубись!

Уже на крыльце – нос мой замотан красным шарфом, на голове огромная песцовая шапка, на ногах валенки – вижу, как Аленку дергает за воротник Лилия Емельяновна и силком напяливает на ее шейку шарф – Аленка визжит: ну не любит она эти шарфы! «Я кому говорю!» – хрипит простуженная Лилия Емельяновна, громко чихает (бородавка, которая присосалась, словно пиявка, к ее верхней губе, аж под-

прыгивает) – и хлещет Аленку по щеке. Аленка ловит мой взгляд, сжимает зубы, опускает глаза. Потом куда-то смотрит, очарованно, будто какое чудо увидала. Я оборачиваюсь... Алеша... весь замотанный, очки запотели... с букетиком фиалок... Мамочки... И Аленка сейчас расплечется...

«Цветы-то где взял?» – шепчу я в шарф: шарф колючий и мокрый. А сердце сейчас из груди вырвется, и так хочется схватить Алешу и расцеловать, при всех, чтобы видели! Лилия Емельяновна тащит замотанную Аленку за воротник: схватила и тащит – Аленка упирается, сучит ножками в новеньких сапожках. Я сплевываю шерсть, стаскиваю с шеи эту красную мокрую колючку, прижимаюсь к Алешиной груди: холодный – и пуговка на пальто оторвана. «Ты представляешь, выросли! Сами выросли!» – Алеша протирает очки ватрежкой – темные ворсинки обрамляют стеклышки, словно реснички. «Вот это да!» Мы выходим на улицу – мороз прилипает к носу, к щекам, к глазам – не отдерешь, разве что с кожей. «А на улице мороз. / Щиплет уши, щиплет нос. / Я не знаю, как мне быть, / Как мне денег раздобыть!» – любит распевать папа: он всегда говорит о деньгах, о «денежках» (лицо папино озаряется мечтой скопить миллион, разложить стопочки, перетянутые бумагой, по карманам пиджаков, повесить пиджаки в шкаф, пахнувший нафталином и кишачий молью, закрыть шкаф на ключ – и посмеиваться, хитровато посмеиваться, зная, что в шкафу висит его счастье!), папа всегда говорит о деньгах – и никогда о любви! У него есть

деньги и нет любви, а у меня нет денег, я еще маленькая, но я люблю! Люблю! И я не знаю, как мне быть. Но не потому, что не могу раздобыть денег, а потому, что у моей любви нет домика! Домика, куда никто не придет и не скажет: «Шалавая растет, и в кого такая! И чтобы я больше не видела тебя с ним!» Где никто не посмеет произнести «жидовская морда». Вот почему мы с Алешей стоим в продрогшем пыльном подъезде и уже минут тридцать прощаемся. Алеша дышит в мои ладошки – очки его запотели, а лепестки фиалок трепещут, словно крылья бабочки. «Вау-вау!» – подвывает Норка из-под закрытой двери, и ветер лупит по окнам беспощадно, так будет лупить по моим щекам мама – я уже вижу ее лицо и вспыхнувшие страстью глаза, и рыжий нимб над головой, – будет лупить, когда я приду домой поздно, окоченевшая, не чувствуя ног и рук, с букетиком фиалок: их крылышки пугливо съежились – и счастливая, счастливая!!! И она не вынесет именно этого счастья! Она схватит букетик...

Когда я была маленькая, мне купили пластилин «не для простых смертных»: огромная коробка – а в ней штук тридцать, а то и больше, цветов, маленькая лопаточка с зубцами: ею можно было отделять от липкой массы кусочки, пластмассовая доска болотного цвета для лепки. Купили и положили на самый верх кухонного шкафа («И чтобы без спросу не смела трогать, ясно тебе?»), до которого было так трудно добраться: стоило бабушке прилечь («Танчишка, пойду сосну чуток, не балуй»), я ставила скользкую табуретку, за-

лазила на стол, затаскивала на него табуретку, словно циркачка (может, после этих выкрутасов я и захотела стать акробатом – и когда меня спрашивали: «Таня, а кем ты хочешь стать?» – отвечала: «Аклобатом»), карабкалась на самую верхотуру, осторожно снимала со шкафа коробку, трясущейся рукой удерживала ее, а сама слезла вниз. Уф... страшно... Табуретка подо мной ходуном ходила, табуреточьи ножки, выкрашенные в белый цвет и кое-где ободранные, шатались – но я каждый раз, обливаясь потом и липким страхом, лезла и лезла наверх, доставала заветную коробку, затем садилась за кухонный стол, клала на него доску болотного цвета, аккуратно отделяла лопаточкой кусочки пластилина и лепила, лепила. Я лепила до самозабвения, до щенячьего визга в душе! Едва заслышав бабушкины побрякивания и потягуши (бабушка не сразу вставала с постели), я скатывала в колбаски фигурки, которые вылепила: домики, цветочки, змеек, мишек, затем придавала им прямоугольную форму и лопаточкой с зубцами делала бороздки на их поверхности – как новенькие! Оставалось вернуть коробку на место... Однажды я слепила слоника из бирюзового пластилина – он был такой красивый и будто живой! Я назвала его Татик. Он стоял на лепильной доске болотного цвета и улыбался мне. «Татик, – говорила я, – я буду кормить тебя щербетом, – я загибала пальчики, – козинаком, нугой, пастилой, сливочной колбаской, орешками в сахарной пудре, халвой, лукумом – из синей жестяной коробки! А потом мы поедем

с тобой в Трускавец, в кэгэбэшный санаторий. Ты был в кэгэбэшном санатории?» Татик смешно шевелил ушками и хоботом и обещал быть послушным мальчиком. Я не заметила, как окно посинело: в это время обычно приходит мама с работы... И бабушка «заспала» («Девчонка сидит голодная, а я, старая кочерёжка, заспала»).

Я успела засунуть коробку под стол, а Татик так и стоял на лепильной доске. «Ишь ты, – развела руками бабушка, – ушастый какой!» Мама – она вошла внезапно –дохнула на меня холодом и поставила на стол сумку... «Ах ты засранка такая! – зарычала она, пытаясь отодрать Татика... он превратился в большую бирюзовую лепешку... от сумкиного дна. – Мать недоедает, недопивает – всё ей, всё ей, а она... Ну ты получишь теперь!» Мама схватила коробку с пластилином, запихала туда то, что осталось от Татика... Она кричала, махала руками, а я – ни слезинки! – беззвучно стояла-стояла, а потом бум – и на пол...

А мы с Алешей прощаемся – и я говорю: «Алеша, как нам быть?» Алеша пожимает плечами: «Быть!» «Но где? – кричу я. – У нас нет своего дома!» «Вау-вау», – отвечает Норка. «Ну чего ты молчишь?» – неистовствую я. Алеша снимает очки и округляет глаза: «Можно к нам...» «Ага, к вам! Да моя мама и мой папа меня живьем сожрут!» «Ну, не знаю... можно к тетке моей – она одна в трешке живет». «Нет, – мотаю я головой, – они достанут меня и оттуда. Нам надо... – я размышляю всего одну секунду, но она повисает звенящей

иглой над вечностью. – Нам надо... уехать!» Алеша надевает очки, смешно двигая носом: «А куда?..» А я и сама не знаю: ищу ответа на потолке – кто-то умный нацарапал прямо над моей головой неприличное «иди на х...», уносящее далеко-далеко... «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!»... «Алеша, а давай уедем в Париж?» – визжу я от восторга. «В Париж?.. – Алеша смотрит на меня как на полудурка (бабушка так на меня смотрит иногда: «И не сказать ведь что дура, – закусит она губу и медленно качает головой, – так разве, полудурок...»). – Сумасшедшая-а-а-а!» Он «а-а-а» это тянет бесконечно (до-до-до), при этом глаза его – зелено-карие – синеют! «А что? – ликую я. – Подкопим денег (моя коробка из-под «Птичьего молока» уже распухла от хрустящих купюр – у меня есть даже денежки с изображением Ильича!), купим билеты и...» «И?...» – Алеша смотрит на меня теперь уже как Степанида Мишка, когда она «шары выпучит свои рыбы» и помаду по подбородку размазывает...

Я бегу по лестнице, и за мной шлейфом тянется это бесконечное «и-и-и-и-и»... «И-и – раз – два – три, раз – два – три», – считает Лилия Григорьевна, отбивая такт наманикюренной рукой с узловатыми пальцами.

Новый год: я сижу за столом в новом платье, Дедушка Мороз положил мне под елочку собаку Бульку, а папа – подарок из «кэгэбы» в красивом шуршащем пакетишке, весь день мы резали салаты («Ножи такие же тупые, как хозяин», – ворча-

ла мама; не хватило майонеза, и я выменяла у Ленки Алексашкиной банку горошка из папиного пайка на маленькую баночку майонеза; «Не выбрасывай банку», – обычно кричит мама: мы в этих баночках потом анализы сдаем), драили квартиру. По телеку показывают «Голубой огонек»... а от Алеши ни звука... Я звоню ему, но телефон кричит мне в ухо своим писклявым пи-пи-пи (си бемоль – си бемоль – си бемоль).

«Падает снег на пляж, – доносится до меня голос Андрея Миронова, – и кружатся листья. / О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти». Ты совсем забыл меня, Алеша, и снег падает на пляж... «Ишь, надулась как мышь на крупу», – мама зыркает на меня, толкает папу в бок: дескать, гляди, что деется – тот вскрикивает со сна: «Какую крупу?» – «У, образина проклятый!» – «Да пошла ты!» – «Никакого праздника». Я хватаю апельсин – и выскакиваю из комнаты. «Платье не ухайдокай! – кричит мне вдогонку мама. – Глаза бы мои вас всех не видели». В комнате темно, на стеклах блестят снежинки, которые мы с Галинкой вырезаем из конфетных оберток, и пахнет апельсином, как тогда, на берегу Бердского залива. Я вгрызаюсь в спелую мякоть, обливаясь липким соком и слезами. Я пишу письмо. «Алеша, – пишу я, долго думаю, ставлю точки над буквой «е». – Алёша, – пишу я. – Ты... – зачеркиваю. – Я...» – рву лист бумаги в клочья. «Иди Пугачиху послушай, – кричит мама. – Шалава рыжая. И этот, Паулюс (Паулюсом мама называет Раймонда Паулса),



с нее глаз не сводит!» – «Вы хотя бы раз, всего лишь раз...» С остервенением захлопываю дверь. Рыдания душат меня, и такой ком в горле, будто я съела неспелую грушу. «Гу-у-у-ля! – Галинка: в дверь заглядывает, оберткой от конфеты шуршит. – Ну чего ты ушла? Пойдем, а? Там селедочка под шубой, колбаска твоя любимая – ты же не ела ничего, – Галинка заталкивает конфету в рот, говорит «кушающим голосом» (это я, маленькая, придумала: когда кто-то ел и говорил при этом, я называла голос «кушающим»; а еще я придумала «голос толстяка»: такой густой, будто масляный). – Ну пойдем!» Я поднимаю на нее свои заплаканные глаза – лицо Галинки лоснится и сверкает, словно елочный шар. Встаю (всё равно покоя не дадут), плетусь за Галинкой. Она усаживает меня за стол, накладывает полную тарелку салатов, колбасы, рыбы... «Ешь, ешь, – приговаривает она, разгрызая козинак, – Новый год же». «Только и знает жрать, виса, платье вон по швам трещит, – ворчит мама. – Ей с женихами пора встречаться, а она девчонку бузывает». Галинка заливается краской, виновато косится на меня («бузывает»-то Галинка меня, чтобы я тоже была толстой и ей было не так обидно).

«Хм, с женихами!» – лыбится папа, опрокидывает стопку водки, берет шпротину за хвостик, закусывает, икает – и тут же храпит, потрясывая головой, словно китайский болванчик (я видела такого болванчика у Ираиды Николаевны – везет же!).

«А ты чего как волчина выглядишь? – это мама мне:

глаза мои на мокром месте, кусок в горло не лезет. – Об этом, что ли, убиваешься? Да нужна ты ему как зайцу пятая нога». Мама смеется, и каждый ее смешок вбивается в мою голову, словно ржавый гвоздь. «Небось, в Израиль уехал», – просыпается папа, лыбится, поддевает вилкой салями, пытается поймать ее ртом – салями плюхается на рубашку. «Шимпанзюка чертов, глаза б мои тебя не видели», – рычит мама. «А здравствуй, милая моя, – парирует папа, – а ты откедова пришла?»

«Твой-то не проздравил?» – на следующий день шепотком спрашивает бабушка (бабушка Новый год встречать не любит, спать ложится: «Всю ночь жрут, а потом беснуются»), – говорит, сама же ни крошечки в рот не берет, как «повечеряет» часов в семь, – а вот «Рождество» празднует: в «церкву» ходит, свечечку ставит, кутьицу варит, правда, ни мама, ни папа это бабушкино рвение не жалуют и меня с нею в церкву не пускают: «Нечего девчонку с панталыку сбивать, и так пустёхонька, глядишь, последнее зернышко выветрится», – строжится мама; «Чем он помог-то тебе, боженька твой, темный ты человек?» – пустозвонит папа. «Молчи, антихрист! Спаси и сохрани мою душу грешную Господи! Пенсию вон дал» (Боженька дал бабушке пенсию по утрате кормильца только недавно, а я научила ее «подпись подписывать» под ведомостью, которую приносит «письмоноска»)).

«Твой-то не проздравил? – шепотком спрашивает бабушка. Я опускаю глаза. – Эх, Танчишка ты Танчишка... Хошь,

поворожим? – Я молчу. – Грех это, Господи помилуй, ну да ладно. Тридцать шесть картей четырех мастей, скажите всю правду». Бабушка раскладывает карты, прищуривает глаза, потом прикрывает рот ладошкой. «Ну?» – тереблю я ее за подол платья. «Дорога дальняя. И казенный дом. Ну и пес с им, – машет рукой, – добра-то!» Хватаю шубу, шапку, натягиваю валенки, хлопаю дверь. Бабушка не успевает и ахнуть. «А ну, вернись, собачье отродие! – швыряет мне в спину мама. – Вернись, я кому сказала!»

Но я уже далеко. «Небось, в Израиль уехал...» – квакает в моей голове. А я готова хоть в Израиль, хоть на улицу Плахотного, будь она неладна, хоть на край света... Остановка голая, ветер гоняет по обледенелой дороге мандаринную кожуру, обрывки мишуры. И ни одного автобуса. Я даже не знаю, как доехать до этого чертова Плахотного. Околела, ног не чувствую: в одних капроновых колготочках «фигуряю» («фигуряю» – так бабушка говорит) – замерзну, умру... Тормозит старенький «Жигуль». «Если вдруг рядом с вами останавливается машина, и незнакомый дяденька предлагает вам покататься, – недавно наставляла нас, девчонок, Степанида Мишка на «закрытом собрании» (Мишка так и сказала, «выпучив шары» и размазывая помаду по подбородку: «Так, мальчики свободны, а с девочками мы сейчас проведем “закрытое собрание”! – Мальчишки с радостным воем «Шубись!» выкатились на крыльцо и ждали нас, а когда мы вышли, пунцовые, взмокшие, особенно по-

багровела белесая Сусекина, бежали следом, кидали в нас снежками и орали: «А у Сусекиной месячные!» (орал Данька Пеньков: у него мама в больнице работает, он всё знает); «А Чуда родила!» (орал Заходер) – вот идиоты!), – если вдруг рядом с вами останавливается машина, и незнакомый дяденька предлагает вам покататься, ни в коем случае не садитесь, поняли?» – сифонила Степанида Мишка. «А к знакомому дяденьке можно?» – выкрикнула Лариска Кашенко и покосилась на Наташку Коровину: моя мама говорит, ее мать «гуляет с очередным полюбовником». «Только если рядом мама», – Степанида Мишка погрозила Лариске пальчиком – та засмеялась, поглядывая на Наташку. «А почему нельзя?» – округлила глазки наивная Кузя, ковыряя в носу. Даже правдолюбка Аленка цыкнула «ну ваще!» и поджала губки – косички подпрыгнули! Чуть «Ну да, Таня» не сказала... эх, Аленка... «А потому! – выпучила шары Степанида Мишка. – Потом поздно будет!» Степанида Мишка обвела нас взглядом и рассказала, как «одна девочка» (но мы-то знаем, что это Лукшина из шестого «Б») тоже вот недавно «прокатилась...» Степанида Мишка прикусила губу: рассказывать или не рассказывать? А мы видели, как она борется, как отчаянно размазывает помаду по подбородку, выпучивает глаза... «И нагуляла ребенка!» – выкрикнула наивная Кузя. Анька Шпакова давай креститься. «Шпакова! – побагровела Степанида Мишка. – Прекрати это святотатство!» Маленькая Анька опустила глаза, зашептала что-то (молитву,

наверное: Анька часто бурчит себе под нос «Отче наш»).

История с Лукшиной облетела всю школу: она связалась с «плохой компанией», потом села в машину... теперь не ходит на уроки. «Яблоко от яблони недалеко падает – у нее мать такая же шалава», – говорит моя мама.

А у меня ноги сейчас отвалятся. «Кого ждешь? На свиданку, небось, пришла? Ну-ну, – из окна «Жигуля» высовывается какой-то, как говорит мой папа, «каразубый» («каразубый» – это у кого щель между верхними зубами) дядька в кроличьей шапке, хохочет. – Садись, подвезу. А то вон колготки к ногам прилипли. Отморозишь там себе всё». Я, словно неживая, сажусь в машину. «Одна девочка... – шепчет Степанида Мишка. – Тоже вот недавно прокатилась...» «Куда везти-то?» – кричит каразубая кроличья шапка: я гляжу в зеркальце – меня буравят глубоко посаженные серые глазки. «На улицу Плахотного», – хриплю я. «Ишь ты, на Плахотную! – свистит дядька. – А чё так далече? Из дому, поди, сбежала?» – «Да нет, заблудилась: не на тот автобус села». – «Ну, так бы сразу и сказала. А где там?» – «Я покажу».

«А на улице мороз, щиплет уши, щиплет нос... – стучит в моем мозгу, я одеревенела, я ничего не чувствую, только коленки дрожат. – Я не знаю, как мне быть...» «Плахотная твоя, просыпайся! – кричит кроличья шапка – я вздрагиваю. – Дом-то какой?» А темень – хоть глаз выколи: попробуй среди одинаковых хрущевок отыщи Алешин дом! «Кирпичный...» – «Ты чё, издеваешься, что ли? Я вот тебя шас

в ментуру сдам...» – сопит, кряхтит, дышит – и ласково: «А рядом что, не помнишь? («И будьте осторожны, – Степанида Мишка грозит пальцем. – Если дяденька говорит ласковым голосом, это не значит, что он добрый! У него могут быть дурные намерения, зарубите это себе на носу!») – Округлив глазки, Кузя трет свой носик-кнопочку: «А что такое «дурные намерения»?» – «Дура – и не лечится, – шепчет второгодница Оксанка Брежнева по кличке Лёня (она недавно в нашем классе, и я ее побаиваюсь: у Оксанки родители глухонемые). – В кусты затащит и...» – Оксанка показывает неприличный жест: складывает большой и указательный пальцы на левой руке колечком и вставляет в это колечко правый указательный палец, потом вытаскивает, вставляет – и вытаскивает.) Ты чё, издеваешься, что ли? Я вот тебя шас в ментуру сдам...» – «каразубый» сопит, кряхтит, дышит – и ласково: «А рядом что, не помнишь?» – «Дер-р-ревья...»

Мы колесим минут двадцать, а может быть, и сорок: мне каждая минута кажется вечностью. «Ну ладно, покатались – и хватит: меня дома ждут, – кроличья шапка оборачивается, серые глазки впиваются в душу, каразубые зубы щелкают, сердечко мое отчаянно стучит: «Одна девочка тоже вот недавно прокатилась...» – Говори адрес дома». «Не помню... улица Плахотного», – хриплю я. «Своего дома!» – «У меня нет дома...» – «Старый я уже в эти игрушки играть! Говори адрес или проваливай к едрене Фене (про эту Феню папа говорит)!»

Еще минут через двадцать, а может через час, «Жигуль» тормозит около моего подъезда – я вылетаю пулей... и упираюсь головой во что-то плотно-шершавое... дядь Саша, милиционер, в зимнем пальто с каракулевым воротником и в каракулевом же пирожке на голове. «Ой, Чудинова Таня! – жеманно всплескивает он руками («как баба плохая», говорит моя мама). – А кто это тебя на машинах катает?» – и сует свой пирожок в пасть «Жигуля», словно циркач в пасть льва. А я... горячая жидкость течет по моим ногам... я не писала целый день... я терпела до последнего... «Зассанка чертова!» – слышу я мамин голос: она меня убьет! Я меж Сциллой и Харибдой: и домой не кинешься – и назад пути нет (дядь Сашин пирожок маячит перед глазами).

Господи... Я вбегаю в подъезд, складываю руки в молитве... и вздрагиваю от громкого лая – Джесси! А с ним Ираида Николаевна! «Здравствуй, Танюша! – кивает она мне и несется вниз по ступенькам: Джесси тянет ее на поводке! – Да постой ты, бешеный!» – кричит она уже Джесси. «А можно мне с вами?» – пишу я (пишу прямо как Аленка, только вот косички не топорщатся), топя мокрыми ногами, и, не дождавшись от Ираиды Николаевны ответа, бегу следом. Как собака...

«Что с тобой, девочка? – спрашивает Ираида Николаевна, когда мы, нагулявшись, поднимаемся на восьмой этаж: слава Богу, она одна (девчонки: Женя и Оля – уехали в Ленинград на каникулы), – и гладит меня по головке. Джесси обнюхива-

ет мои описанные колготки, лает. – Господи, да ты...» – Ираида Николаевна стаскивает с меня пальто, тащит в ванную... «Не пойду домой», – я сижу в Женином халате и жую пирог, запивая его малиновым чаем: вот бы Ираида Николаевна была моей мамой... «Таня, но так нельзя: твои родители с ума сходят! Допивай чай и марш домой!» Я заталкиваю кусок пирога в рот, залпом выдуваю остатки чая – и... забиваюсь в шкаф: на дверце шкафа висит фотография – уголок отогнулся – Эйфелевой башни! В нос шибает резкий запах нафталина, хозяйственного мыла и апельсиновых корок... свежих, Новый год ведь... «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а... пчхи!» В дверь звонят... ну вот и всё... «Ираида Николаевна, здравствуйте, моя у вас? – мамин голос, будто виноватый. – Давыдкин Саша, милиционер, говорит, видел ее». Я затыкаю уши, зажмуриваю глаза... мамины руки касаются моей руки... я забиваюсь всё глубже и глубже...

Мама кричит («На одну ногу наступить, за другую потянуть»), размахивает перед моим носом мокрыми колготками (Ираида Николаевна выстирала их, но они не успели высохнуть) – а я словно окаменела: стою, истукан истуканом, потом молча раздеваюсь и ложусь в постель. «Я тебя в дебильную школу отдам! – рычит мама. – (Как через трамвайную линию перейдешь – 53-я школа, там умственно отсталые – УО – учатся: я этих УО ужас как боюсь, они все время улыбаются и заглядывают в глаза, – и как только тетя Ду-



ся в дебильной школе работала (это она, чтобы пенсию ей побольше дали, работала)? Много историй она рассказывала про эту самую школу: придет к нам и рассказывает (а сама и плачет, и смеется). Но вот одна история особенно запала мне в душу. Ведет тетя Дуся урок. «Ребята, – говорит она таким противным добреньким голоском (она и со мной таким голоском частенько говорит), – посмотрите на эту картинку. Это ослик, – и тетя Дуся показывает указкой на ослика. – Всем видно? – Ученики дебильной школы кивают головами: видно, мол. – Миша, – обращается она к румяному крупному мальчику (он третий год подряд сидит в первом классе), – ну-ка, посмотри внимательно на эту картинку. Кто это?» – тетя Дуся тычет в картинку указкой. Миша делает серьезное лицо. «Слон», – бурчит он себе под нос. «Посмотри внимательно, Миша, – сладко поет тетя Дуся, – кто же это такой на картинке, а?» «Слон», – отрезает Миша. «Ребята, а ну-ка давайте ещё раз посмотрим на картинку. Ну-ка, все посмотрели. Кто же здесь изображён? У кого такие ушки, лапки, хвостик, а? Это ослик. Повторяйте за мной, – и тетя Дуся поет всем телом: – О-с-л-и-к». Ученики дебильной школы, зачарованные выступлением тети Дуси, беззвучно шевелят губами: о-с-л-и-к. «Миша, – противным добреньким голоском поет тетя Дуся, – ну-ка скажи нам, кто же это на картинке, а?» Миша по-прежнему непреклонен: «Слон». Помню, придет к нам тетя Дуся: «На такую муку пошла ради этих чертовых 132 рублей», – поскуливает и слезу утирает.) – Я

тебя в дебильную школу отдам! – рычит мама. – Мать в гроб загнать хочет!» «Совсем озверела», – ворочается с боку на бок бабушка – но уже через минуту тихонько посапывает: у-у-у, о-о-о, у-у-у, о-о-о.

На следующий день мама уходит на работу, сквозь сон я слышу, как она говорит бабушке: «Шура приедет – эту к ней не подпускай, придурочную: покоя не даст». Теть Шура приезжает!!! Почти два часа лежу я в постели, не смыкая глаз. Бабушка сопит, Галинка сопит, папа около часа «бегает как бешеный таракан», потом, наконец, уходит на работу... Через полчаса тетя Шура звонит в дверь – и я, сбивая с ног бабушку, несусь к двери как угорелая: «Теть Шура приехала, тетя Шура приехала!!!» «Анчутка, – кричит бабушка, – инвалидом оставит!» Теть Шура – в искусственном полушубке, в валенках, в шали на голове и с большой сумкой (на сумке этой нарисованы олимпийские кольца) – целует меня в щеку холодными губами: «Танюшка! Выросла-то как!» – и обнимает бабушку: «Мамочка!» Потом она достает из олимпийской сумки шелковый халат для бабушки («Себе оставь: с голой жопой ходишь!»), панталоны для Галинки (Галинка берет большущие панталоны с начесом и густо краснеет) и куклу для меня, импортную, вот Аленка бы умерла от зависти! Маленькая, я любила отрывать куклам головы, руки, ноги, а затем брать наугад туловище («туловище», как говорила я; оно выглядело так беспомощно, так жалостливо, с темными дырками, зияющими пустотой) и вставлять в него первую

попавшуюся голову, руку, ногу. Мама придет с работы – а они сидят, мои бедные куклы: у кого голова в два раза больше туловища, у кого одна рука длинная, а другая короткая, а у кого волосы выстрижены догола... Не везло и мягким игрушкам: я их лечила, детскими шприцами уколы делала – а потом зеленые, красные, синие пятна («лекарствами» были разведенные в воде краски) расплзались по плюшевому пузу... «Ну к чему ты деньги-то псу под хвост выбрасывала?» – строжится бабушка. «Зорьку продала. Устаю», – опускает глаза тетя Шура, бабушка ахает, закрывает рот ладошкой. Я хватаю куклу: «Я назову тебя Зорька! Зо-о-о-орюшка!» – и глажу ее по белым блестящим волосам.

Мы потчует тетя Шуру, а я луплю ногами по ножкам стула и посматриваю на часы (я лет с четырех знаю, как определять время по стрелкам – бабушка выучила): мама скоро с работы придет. «Теть Шур, – шепчу я тетушке на ушко, – поехали с тобой в одно место, жизнь или смерть!» Теть Шура округляет глаза, бабушка грозит мне пальцем: Танчишка, мол, смотри у меня! «Да устала я, Танюшка, почти сутки в дороге!» «Ну пожа-а-а-алуйста!» – я складываю ладошки в молитве. Теть Шура как-то обреченно встает со стула, идет в коридор, накидывает полушубок, шаль, надевает валенки... «Да ты что, Антихрист такая, делаешь? – бабушка хватается меня за руку, когда я отпираю входную дверь. – Она ж еле на ногах стоит!» Но мы уходим в холод, в темноту (лампочка в подъезде не горит уже который день)...

А потом кружим по улице Плахотного: один дом похож на другой, а мягкий пушистый снег падает теть Шуре на шаль, на полушубок, даже на длинные ресницы – и она похожа на снежную бабу. «Простите, пожалуйста, – подбегаю я к какому-то старичку с маленькой тощей собачкой: кажется, я вижу дом, где может жить Алеша, но возле настоящего Алешиного дома были погребка, крашенные рыжей краской (погребка эти торчали из-под земли, будто грибы рыжики (мы с Пашей... эх, Паша, совсем я тебя позабыла... мы с Пашей собирали рыжики)), а тут погребка с какими-то сероватыми шляпками... поганки поганками. – Простите, пожалуйста, а вы не знаете Алешу из этого дома?» «Какого Алешу?» – гавкает старичок, собачка поднимает ногу и поливает белый снег – он покрывается противными желтыми пятнами. «Алеша... Миркес», – выдавливаю я по слогам и опускаю глаза: я боюсь, что старичок крикнет «жидовская морда», я вижу это по выражению его... лица. «Продали Россию! – старичок машет рукой, сплевывает, семенит за собачкой, потом останавливается. – Не знаю я никакого... Меркис, – коверкает он Алешину фамилию, – и тебе не советую!» «А... Эдит знаете?» – в отчаянии выкрикиваю я. «Нет тут никаких... Эдит... етит твою мать!» – гавкает старичок, дергает собачку за поводок – та взвизгивает – поднимает воротник и шагает прочь, похрустывая свеженьким снежком: вхру-вхру, вхру-вхру. Теть Шура бессильно опускается на лавочку, к ней подбегает румяненная полногрудая женщина – про таких говорят «кровь

с молоком» – с коляской: в коляске посыпыхивает такой же румяненный бутуз. «Вам плохо?» – громко спрашивает румяненная женщина: у нее приятный грудной голос. «Ничего, ничего, – улыбается теть Шура и ласково глядит на спящего бутуза. – Ваш?» «Мой!» – гордо сообщает румяненная. «Простите, – чуть не плачу я, – а вы не знаете Алешу? У него еще бабушка такая... Эдит» – я показываю, как Эдит сгорбилась, зажгла спичку, поднесла к папиросе, затянулась. «Уау-уау, уау-уау!» (ре-фа, ре-фа) – громогласно пробуждается бутуз. «Чи-чи-чи! – успокаивает его румяненная, покачивая коляску. – Сейчас домой пойдем, – поет она, – покусшаем, ты мой сладкий!» «Уау-уау-уау!» – заходится бутуз. Румяненная разворачивает коляску: «Ну-ну-ну-ну-ну! Утеночек мой! Идем-идем-идем-идем!» Я всхлипываю, плечи мои вздрагивают, из носа текут сопля... «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – поскуливаю я. Румяненная разрывается между моим поскуливанием, ревом бутуза и ледяным молчанием теть Шуры. «Господи, да что ж это такое... – мечется бедняга. – Алеша... Алеша... и бабушка... – румяненная смешно касается пальцами губ, изображая, как Эдит курит, – нет, не знаю, не видела... А вы вот что... вы в школу идите! Правильно! Школа-то тут недалеко!» Румяненная успокаивается, смотрит вдаль – величественная, она похожа на каменное изваяние дедушки Ленина, которое стоит напротив оперного театра.

Школьная сторожиха: «Чего шастаете? – кричит. – Нет никого – каникулы! – и метлой машет, словно Баба Яга в исполнении Милляра (я, маленькая, думала, что это настоящая Бабка Ёжка). – Щас свистну!» – сторожиха берет в рот свисток. «Мамаша, – жалостливым голоском говорит тетя Шура, – помоги!» «Чё, сикать, небось, захотели? – смеется Ёжка беззубым ртом. – Заходи!» Мы несемся по темному пыльному коридору... а потом отогреваемся чаем в маленькой дворничкой. «Тут и живу, – шкворчит сторожиха, попивая чай с блюдца. – Спасибо директору, – она глядит на фотографию толстого усатого кота в очках, которая висит на стене рядом с портретом Брежнева из журнала «Огонек», обрамленным мишурой, – спасибо директору – хороший человек!» «Я ищу одного мальчика... – набираю воздуха в легкие, выдыхаю, слезы льются по щекам. – Алешу-у-у-у!» Ну пожалуйста, обращаюсь я невесть к кому, ну помоги мне найти Алешу, ну ведь Новый год же, чудеса! Обмишуренный Брежнев подмигивает мне, шевеля своей кустистой бровью. Я выкладываю всё, что знаю и не знаю об Алеше – Бабка Ёжка задумчиво покачивает головой, поджимает губу: «Н-да... Миркин, говоришь? – Я мотаю головой: Миркес! – но Ёжка меня не слушает. – Четвероклассник? В очках? И старуха с “Беломором”? – и вдруг как завоет: «Мы ехали долго, нескоро, / Вдруг поезд, как вкопанный, встал. / Кругом только лес да болота – / Вот здесь будем строить канал. / Дорогу сложили мы быстро, / Она пролегла, как струна. / А груда костей за-

ключённых / Вся кровью была полита... – Ёжка смолкает, глядит на нас дурными, как у описавшегося ребенка, глазами... мы с тетей Шурой втягиваем головы в плечи, будто и ей, и мне саданули молотком по башке... – Пошли».

Мы несемся по темному пыльному коридору... на стенах фотографии, много фотографий: мальчишки, девчонки, малышня и постарше – и все улыбаются белозубыми улыбками. «Гордость школы» – когда-то гласила надпись вверху, вот только буква «р» отвалилась, и кто-то умный исправил букву «о» на букву «а» – получилось «Гадость школы». Я впервые за этот сумасшедший день смеюсь. «Ну? – кричит Бабка Ёжка. – Нашла своего? Вроде тут висел», – и тычет... в пустое место на стене... Тут висела фотография: остались ее следы – такая темная рамочка... и она зияет чудовищным оскалом...

Ночью – уже надрывались от крика мама («Мать хочет в гроб загнать!») и папа («Ей бы кайло в руки – и на сто первый километр!»), уже кидалась между мною и родителями, словно взъерошенная курица, расправив руки-крылья, тетя Шура, а потом скулила беспомощно («Уеду я от вас, уеду!»), а бабушка скулила с нею в голос, прижавшись к своей «меньшухе» плечом («Сама б ушла куда глаза глядят, да кому я нужна, старая!») – ночью я проваливаюсь в глубокий колодец сна и вижу Лилию Григорьевну... будто висит ее фотография на доске почета, я прикасаюсь к ней пальцем, а она развеивается, словно облачко дыма...

А утром суббота! И мама напекла пирогов! И тетя Шура никуда не уезжает! И мы всей семьей сидим за столом – празднуем! А что еще нужно восьмилетней девчонке? Я пока не знаю, что такое «гнойник любви» (об этом «гнойнике» я услышала в фильме про прежнюю жизнь: там одна дамочка в шляпке и перчатках, пуская дым, томным голосом говорила какому-то офицеру, бросившему ее, о том, что «гнойник любви» на ее теле «нарывает»), но я пока не знаю, что такое «гнойник любви», который постоянно ноет, который не дает себя забыть, отодвинуть, заменить чем-то другим, я пока не думаю о смерти как о возможности выдавить этот гнойник, я пока верю в светлое будущее, о котором так часто вещают из всех радио- и телеточек, и в этом светлом вещем будущем мы с Алешей и не расставались... И потому, услышав в телефонной трубке Кузин голос: «Танька, привет! Пойдешь с нами на каток?» – я хватаю коньки, пирожок с малиновым вареньем, напяливаю папин верблюжий свитер, шапочку, штаны с начесом... Алешу я найду завтра, тетя Шура уедет завтра – всё завтра, – а сегодня, сегодня я буду кататься до одури, до звездочек в глазах! А потом приду домой, румяная, лохматая, взмокшая, стяну с ног обледеневшие штаны и поставлю, да-да, поставлю их у батареи: пусть оттают и просохнут.

Каток колышется, словно муравейник. Мы с Кузей и Тимошкой (Тимошкой мы зовем Ирку Тимофееву, мы с ней то дружим, то не дружим: она ябеда, доносит на нас всех Степаниде Мишке своими пухлыми губками) вливаемся в общий



поток и тащимся по кругу. Я разгоняюсь – и сталкиваюсь... с Аленкой... бум-м-м-м! Аленкины косички вздрагивают и подпрыгивают чуть не к небесам. Синяк будет на лбу. И на Аленкином тоже. Мы обе сидим на льду и трем больное место: у Аленки слева, у меня справа (словно у девчонок по имени Оля и Яло из «Королевства кривых зеркал» – обожаю эту сказку).

Трем, посматривая друг на дружку исподлобья, – в сторонке стоит Сусекина, воображает: мать купила ей чехословацкие коньки «ботасы» (даже у меня – а я не простая смертная! – таких нет... подумаешь!).

Мы посматриваем с Аленкой друг на дружку, а потом вдруг как захихикаем: Аленка трясется мелкой дрожью, косички топорщатся, а я завалилась на лед и хохочу прямо в небо. Не сговариваясь, мы беремся за руки, пытаемся встать – и снова бум-м-м-м! Теперь уже синяк будет на мягком месте... Встаем кое-как: ни Кузя, ни Тимошка, ни Сусекина – они втроем уже скребут коньками лед – нам не помогают, да ну их! Аленка!!! Вот что сейчас для меня важнее всего! «С Новым годом, – робко начинаю я. – А что тебе Дедушка Мороз подарил?» «С Новым годом, с новым счастьем, – отскакивает у Аленки от зубов. – Мне новый портфель (Аленка, отличница ты моя несчастная!), такой красный, с белыми кармашками, а тебе?» – «А мне собаку Бульку...» – «Настоящую?!» – «Да нет, игрушечную: такую большую (я размахиваю руками, словно рыбак, демонстрирующий, какую рыбу

он поймал), лохматую, с ушками. И конфет всяких!» – «У-у! А где твой...» – Аленкин голосок дрожит, косички метнулись в сторону. И я понимаю, что она хочет спросить об Алеше. Голос мой прирастает к горлу. Я глотаю, чтобы он хоть чуть-чуть оттаял. «Пропал? – спрашивает Аленка. Я мотаю головой. – Как Лилия Григорьевна, помнишь?» Ну Аленка, ну ты же словно читаешь мои сонные мысли! «Помню, – киваю я. – Я много чего помню...» – «Я тоже...»

Мы идем домой вместе. Прощаемся у Аленкиного подъезда (Буяновы живут в десятом подъезде, а мы, Чуудиновы, в девятом), и вдруг она говорит: «А давай его искать. Вместе...»

Мама открывает дверь, а я счастливая!!! Она испуганно смотрит на папу, на тетя Шуру... «Ты где была?» – шепчет она каким-то змеиным голоском. – «На катке». – «С этим... своим?...» – мамины глаза выпрыгивают из орбит, очки спадают к носу. «Он что, разве не в Из...» – папа – и осекается: мамин кулак «поглаживает» его по подбородку, вот-вот до скулы доберется. «С девчонками! – ору я. – С Кузей, с Тимошкой... с Аленкой! Не веришь – спроси!» Мама верит. Морщинки на ее напряженном лице разглаживаются, глаза успокаиваются и будто наливаются маслом. Эта беда – дружба с Аленкой Буяновой и ее «семейкой проклятой» – для мамы уже не беда. «Пес с ней, с Аленкой твоей, – улыбается она, – пусть приходит».

Аленка! Давай больше никогда, ни в жизнь не ссориться,

а? Ну да, Таня! – слышу я знаменитое буяновское – и парю! Я парю, ты паришь... Париж-Париж... Мне теперь и об Алеше думать легко: вот кончатся каникулы – и мы с Аленкой поедем в эту Плахотную школу, где живет сторожиха Бабка Ёжка, которая поет сказочные песни, найдем того самого котоватого директора – «хорошего человека», чей портрет висит на стенке в каморке сторожихи, и спросим, куда они подевали Алешу. А может, и не подевали, может, он просто обиделся, к телефону не подходит и не велит брать трубку маме и бабушке... только вот как он догадывается, что это трезвоню я (мы тогда еще и знать не знаем ни о каких мобильных телефонах, даже телефонов с определителями номеров в помине нет)... а может, у них телефон отключили за неуплату! Ну конечно! Вон у Васи-дурачка и его матери-дворничихи отключали телефон, дядь Саша-милиционер еще шкворчал: мол, не могут заплатить, «чирьи на теле советской власти» (дядь Саша так и сказал: «чирьи»). Вот и Алеше отключили... они ведь тоже «чирьи» (хоть папа про чирьи и не говорил, но я знаю: он так думает).

И мы едем. Мы едем с Аленкой в Плахотную школу. В первый же день после каникул едем. Мы едем-едем-едем в далекие края... Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!.. Мой язык примерз к гортани, будто это не гортань, а ледяное железо (когда я была маленькая, я лизнула железную радугу... бр-р-р, до сих пор мурашки по коже!)

На нас с Аленкой надвигается какая-то слоноподобная тетка с красной папкой подмышкой. Она стучит каблуками, как Командор в фильме «Маленькие трагедии» (там Высоцкий Дон Гуана играет), и прическа ее возвышается над головой, словно командорский шлем! Аленка, пигалица Аленка – косички дрожат от страха: «Здравствуйте, а где... сидит директор?» – пищит. Спасибо, где висит, не спросила... Командорша беззвучно трясется всем телом – прическа ее отклоняется в правую сторону, как Пизанская башня, – глазки превращаются в монгольские щелочки... «Ой, насмешила! – Командорша утирает слезы. Мы с Аленкой замираем. – А зачем вам директор?» «Мы ищем одного мальчика, – выпаливает пигалица. – Алешу...» – она бросает на меня беспомощный взгляд. «Алеша... Миркес...» – шепчу я и заливаюсь краской. «Алешу Миркес», – рапортует Аленка (эх Аленка, отличница несчастная, не знает, что мужские фамилии склоняются; да что Аленка, Степанида Мишка и та Борьку Шиву не склоняет: с Борей Шива, говорит (бедный Борик), а еще училка).

«Алешу Миркес? – (и Командорша туда же!) – Хм... А в каком он классе?» «В четвертом, – пищит Аленка, – он еще там, – она машет рукой, – висел». Она машет рукой, и рука эта чуть не сшибает очки с котоватого... директора! Да он совсем крошка... Чуть выше Аленки... Мы с Аленкой надуваем щеки, едва сдерживая смешок. «Кто висел?» – спрашивает котоватый: голос у него низкий, сочный, будто он одол-

жил его у великана (это голос толстяка!).

«Владимир Ильич, – слоноподобная Командорша с Пизанской башней на голове ссутулилась и вогнула голову в плечи: хочет казаться ниже! – а мы с Аленкой хохочем уже в открытую, – Владимир Ильич, эти девочки ищут какого-то Алешу по фамилии Миркес». А у меня в голове крутится: Маркс – Ленин, Маркс – Ленин... «А что тут смешного?» – котоватый «Ленин» смотрит с прищуром. «Они говорят, что этот самый Алеша висел на доске почета», – краснеет Командорша. «А теперь не висит?» – котоватый побряхтывает, достает из кармана застиранный платок и громко сморкается. Командорша мотает головой: Пизанская башня раскачивается то в левую, то в правую сторону. «Посмотрим», – бросает котоватый и бодрым шагом марширует туда, куда махала Аленка, не догадываясь о том, что машет в правильном направлении. Потом он долго смотрит на ободранную краску на том самом пустом месте, где должен висеть Алеша: «Хм... сняли... – чешет он голову. – Найти и повесить!» – разворачивается и семенит прочь. «Владимир Ильич, Владимир Ильич! – кричит Командорша. – А кого повесить-то? Кого повесить?» Но котоватый Ленин исчезает в темном коридоре. Пизанская башня накреняется, накреняется – и падает... Густые волосы струятся по широким плечам, словно Ниагарский водопад (Ниагарский водопад я у Юрия Сенкевича в передаче видела – красотища!).

И время струится беспощадно: на часах половина второ-

го – мы опаздываем на урок! У Аленки от нетерпения дрожат косички: ну да, Таня! – пищит в моей голове. «Ты иди, – шепчу я дрожащей пигалице, – а я тут подожду». Аленка подкручивает пальцем у виска, поджимает губки – и как вчѣистит по коридору: беги-беги, отличница несчастная! В два начнутся уроки, придет Алеша, и мы...

Голова моя кружится, Ниагарский водопад бурлит неистово, звенит звонок, по лестничным перилам катятся отучившиеся-отмучившиеся... В двери ураганом врываются розовощекие, в шапках-ушанках пацаны, свистят, лупят друга портфелями. Щелкает стрелка часов... без десяти два... Алеши нет... Я, как часовой, стою у дверей... Алеши нет... Тик-так... (соль-ми... а я уже почти не различаю звуки...)

Я стою... Алеши нет... Стрелка щелкает... Алеши нет... В половине пятого я – не помню, как шла, как ехала, куда шла, ехала... не помню ничего! – в половине пятого (слышу голос Степаниды Мишки: «Ой, ну вы только посмотрите: Чудинова соизволила явиться! Половина пятого, а она только проснулась!» – и гогот тридцати двух глоток: га-га-га! – мы с девчонками, когда кто-нибудь гогочет, говорим: «Что гогочешь? – сена хочешь?») – в этой проклятой половине пятого я появляюсь на пороге нашего класса. Степанида Мишка пишет что-то мелом на доске... на доске висел Алеша... а теперь не висит... «Кто висел?» – Степанида Мишка размазывает помаду по подбородку. «Найти и повесить!» – рявка-

ет котоватый Ленин. Я стекаю по стенке...

«Я отдам ее в дебилную школу! – кричит мама над самым моим ухом, захлебываясь своим голосом. – УО несчастная!» «Девочка явно переутомлена, – шепчет старичок в белом халате, похожий на старика Хоттабыча, – она не может учиться в нормальном классе». «Эту вашу Чудинову, – изрыгает Табуретка, – надо отправить на комиссию. И ставить вопрос о переводе в специализированную школу!» «Да одна Ч-ч-чудинова, – петушится Сергей Леонидович («Слизняк заикастый!»), – стоит тысячи Н-н-н-нечудиновых!» (только вот где он взял этих Нечудиновых, целую тысячу!).

Меня, эпилептика Эдьку Агеева из второго «Б», второ-  
годницу Оксанку Брежневу по кличке Лёня, Наташку Нехорошеву (у Наташки мать с отцом алкаши, они в логу живут: нам туда ходить запрещается, но мы все равно ходим, костры жжем, картошку печем), Каната Тюлюбаева по кличке Чиба из второго «В» (Чиба избил Лёвку Бабашова, Шобу) – тащат на комиссию, вернее комиссия сама притаскивается в нашу школу. Мы садимся к стенке. За столами, покрытыми бордовыми пыльными скатертями и уставленными мутными графинами и стаканами, сидят какие-то тетki (таких теток моя мама называет «старые девы чертовы») в высоких прическах и очках, съезжающих с носа в рот: вжик-вжик, вот как мы с горки на ледянке (мы делаем ледянки из картонных коробок: я свою ледянку обычно за ящик прячу, у нас в коридоре стоит).

«Ребята, по очереди представьтесь», – бубнит старая тетка: ее зеленое личико с кулачок и седая высокая прическа выглядывают из-за графина, словно букетик лебеда. «А как это “по очереди”?» – лыбится Эдька. Тетка-лебедка шепчется с другой теткой: мясистые бородавки на лице той тетки кактусовыми колючками какими-то покрыты. «Кто знает, что такое “представиться по очереди”, ребята?» – гундосит тетка-кактус. Чиба смотрит немигающими глазами на Лёню, Лёня на Наташку Нехорошеву, Наташка на Эдьку. «Щас в глаз дам!» – Чиба показывает Эдьке кулак, тот снова лыбится. «Мальчик, тебя как зовут?» – ласковым голосом щебечет тетка-кактус, обращаясь к Чибе. Чиба задирает голову и усмежается: мол, не на того напала, колючка старая, не расколешь! Третья тетка – лицо у нее лошадиное, зубы тоже лошадиные, она и причмокивает, как лошадь, – записывает что-то в блокноте и сверлит меня своими глазками-буравчиками: «Девочка, скажи, сколько будет девятью восемь». «А что такое ю?» – Эдька раззявил рот, распустил слюни. «Семьдесят два», – небрежно бросаю я. Чиба грозит и мне кулаком: «В зуб захотела, Чуда?» Лошадиная тетка снова сверлит меня глазками-буравчиками – вот-вот дырку в голове просверлит: «А двенадцатью шесть?» «Столько же», – я цыкаю: зла на нее не хватает. «Столько – это сколько?» – «Семьдесят два». Лошадь ты старая! «А как пишется слово “лилипут”?» – лыбится тетка-кактус. Я молча встаю и, цокая каблучками (у меня новые зеленые сапожки: такие в пупырышках, словно



крокодилы, папа достал – девчонки от зависти аж позеленели, Сусекина и та позеленела), иду к большой доске, которая висит рядом с троицей в высоких прическах, беру мел и большими буквами громко пишу: «Лилипут». Мы с мамой на лилипутский цирк ходили, в первом ряду сидели. Одна хорошенькая лилипутка-гимнастка, пролетая мимо нас, махнула своей лилипутской ножкой – и с нее слетела золотая туфелька, крошечная, как у моей куклы Зорьки. «Вот гадство, – буркнула мама, ловя туфельку за каблучок, – а тут всю жизнь сороковой размер носишь!» Я громко пишу: «Лилипут». «Какая умная девочка! А как тебя зовут?» – лыбится тетка-кактус. Почему-то только тетка-лебедя все время молчит и покачивает своей высокой прической. «Чуда!» – выкрикивает Чибя и громко свистит – лебедя прикладывает пальчик к губам: тш-ш-ш. «Меня зовут, – свирепею я: как же они мне все надоели! – Таня Чудинова!» Тетки переглядываются, качают своими высокими прическами, ловят губами сползающие с носа очки. «Да, нервная девочка», – шепчет старая лошадь. «Очень нервная девочка», – поддакивает кактус. И только лебедя молча кривит губы и опускает голову: какая нервная девочка! Я нервная девочка, хочу крикнуть я этим старым комиссионным крысам и вцепиться в их высокие прически, в их кактусообразные мясистые бородавки, я очень нервная девочка, а знаете, почему? Да потому, что мне всего восемь... восемь с половиной (восемь с половиной... прямо как у Феллини, но я не смотрела еще Фелли-

ни, я пока вообще о нем ничего не знаю), мне всего восемь с половиной... но мне кажется, я прожила все восемьдесят, я люблю – но меня разлучили с моим Алешей... да что вы понимаете, старые девы чертовы...

Эдку Агеева, Чибу и Наташку Нехорошеву переводят в пятьдесят третью школу, Лёню оставляют в нашем классе («Прилежная девочка, пусть тянется»).

«А вот Чудиновой Татьяне... рекомендовано... – Степанида Мишка размазывает помаду по подбородку, с остервенением вглядываясь в заключение комиссии (мама жадно обкусывает губы). – Рекомендовано... пройти лечение...» Слово «лечение» звучит в устах Степаниды Мишки как-то странно – «летение», как будто я должна не излечиться, а кануть в Лету. Степанида Мишка делает паузу, бросает на меня заячий взгляд: боится, видно, что я вот-вот вцеплюсь в ее рыбы глаза, что-то шепчет маме на ухо. Мама краснеет – и обливает меня этой густой горячей краской стыда, щедро, как из ведра. А вечером (я сижу в детской – и туда влетают шальные слова, словно стрелы) я узнаю, что «мы едем в Трускавец»: «Засранка неблагодарная, надо было упечь ее в дебильную школу, а мы...!» Мы едем в Трускавец! «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!..»

«Ты вещи будешь собирать, халда? – кричит мама и долбит в дверь туалета. – Вот ведь наказание, а! Послал Господь на старость лет довесочек! Ну ты-то хоть скажи ей! –

теревит мама папу. – Приросла она к этому унитазу, что ли? Выстудит там всё себе, виса!» «Да пошли вы, – огрызается папа, – надоели как собаки».

Голубой, даже не голубой, а грязно-голубой с черными, будто угревая сыпь (Галинка любит выдавливать жирные угри, вьевшиеся в папины скулы, называет их ўгрики), с черными, будто угревая сыпь точками, он появился в нашем жилище внезапно. Папа достал. Под Новый год. Когда я слышу это волшебное слово «достал», я представляю себе, как папа поднимается на цыпочки и достает откуда-то сверху, может даже с неба, огромную коробку (у нас в такой коробке лежат елочные игрушки) – чудеса! И вот папа достал унитаз! Волшебный грязно-голубой унитаз с угриками! Стоял он посреди комнаты и сиял от счастья, словно трон в тронном зале. И никто не смел не то чтобы сесть на него – даже притронуться к нему казалось кощунством, до того он был прекрасен. Я украдкой подходила к ўгрику и гладила его по холодному челу... ну, если так можно выразиться. Каким неприступным он мне казался, каким далеким... Но его час настал: старый унитаз приказал долго жить (бедняжка, он давно уже погибал) – и ўгрик занял его место. Папа томительно долго разводил цемент, томительно долго водружал унитаз на постамент, томительно долго прилаживал его к полу. (С папы лился липкий пот; «Ё... твою мать в крестовину», – изрыгал он. «Это тебе не с москвичом пить, прощельга чертов», – плевалась мама, с едкой усмешкой взирая на папины потуги укро-

тить угрика. Наконец, цемент застыл, и унитаз можно было «опробовать», сказал папа. Он утер пот со лба и спустил воду в бачке. Угрик заурчал, радостно обдавая меня брызгами. «Эдакую красоту да на срамное дело пустить?» – бабушка махнула рукой и пошла «оправиться» к соседке Ивановне. Мама – минуту назад смелая – оробела: «Пять пудов, – она похлопала себя по бокам, – еще треснет...» «Ну ети вашу мать!» – крикнул папа и спустил штаны. «Нет! – завопила я. – Дай мне, дай мне!» «На-а-а!» – крикнул обиженный папа и показал мне лыч, он всегда показывает лыч, когда обижается и не хочет делиться: он сжимает руку в кулак и резко проводит по подбородку костяшками пальцев – р-раз, р-раз, лыч тебе, лыч! А я захлопнула дверь перед самым его носом и уселась на голубую холодную чашу (крышки никакой не было: не достал папа крышки.))

Вода тихонько журчала в бачке, сердце пело от счастья! Там, за дверью, бесновались мама с папой («Ты чего засе-ла? – кричала мама, – прямая кишка вывалится!»; «Обкэка-лась, что ли?» – гоготал папа), а здесь, на холодной голубой чаше, на меня снизошло вдохновение: я схватила обрывок газетки (туалетная бумага даже в нашем доме была редким гостем; если папе удавалось достать плотные рулоны грязно-серого цвета, мама тут же припрятывала их куда подальше и извлекала на свет божий только тогда, когда к нам приходили гости: пусть видят, что мы не простые смертные!), я схватила обрывок газетки (газетные обрывки лежали в плю-

шевой сумочке, висевшей на стене), огрызок химического карандаша (от этого дурацкого карандаша потом язык синий), приложила газетку к стене и начала быстро-быстро писать. Я писала об Алеше, писала о пигалице Аленке, о Степаниде Мишке, о моем, только моем, Париже... Рука сама прыгала поверх газетных строчек, повествующих об авторитете партийного работника, о новых победах в борьбе за великое дело Ленина, о приемах в Кремлевском дворце съездов, о позывных праздниках труда, о почине энергетиков, о вестях с межзвездных трасс, о традиции борьбы и созидания, о единстве и сплоченности советского народа, о первомайском параде и демонстрации трудящихся на Красной площади, об искусстве партийного руководства, о новых рубежах, о Пленумах Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, о вручении товарищу Л. И. Брежневу наград социалистических стран, о советском человеке – хозяине своей судьбы, о высоких рубежах, о торжестве социалистической демократии, о неотложной задаче тружеников колхозной деревни, о встрече Л. И. Брежнева с Ф. Кастро, о пульсе дня, о могуществе советского строя, о силе народа, о торжестве простого человека, о новых свершениях во имя коммунизма, о высоких рубежах трудовой России, о шахтерском размахе, о союзе серпа и молота, о нашем курсе – мирном созидании, о большой роли культпросветработников, о жизни, отданной народу, о новых мощностях старых заводов, о наследниках октября, о женщинах страны социализма,

о трудовом подъеме на предприятиях, о новой эре в истории... Алеша достал апельсин из кармана, хлебобобы родины добились небывалых урожаев, Степанида Мишка размазала помаду по подбородку, товарищ Леонид Ильич Брежнев встретился с товарищем Фиделем Кастро, «Ну да, Таня!» – пропищала пигалица Аленка, девяносто рабочих-сдельщиков приняли повышенные социалистические обязательства, «А здравствуй, милая моя...», – пропел папа. Написавшись всласть, я пририсовывала усики, бороды, пышные шевелюры и очки товарищам Брежневу и Кастро, Гусаку и Индире Ганди. А потом покидала свое укрытие – мирно – если мамы с папой поблизости не наблюдалось, под крики и проклятия – если мама с папой стерегли меня у двери, – и бережно прятала эти обрывки с диковинным текстом и картинками в коробку от «Птичьего молока», а саму коробку в ящик письменного стола. Скоро «Птичье молоко» распухло до неприличия (бородатые и лохматые Брежнев, Индира Ганди, Луис Корвалан, Анджела Дэвис стали выглядывать из коробки), и мне пришлось переложить мое сокровище в большую папку под названием «Дело №, том №» (сверху было написано «Управление КГБ по Новосибирской области»), папку эту принес с работы папа. Ах как любила я перебирать свои «рукописи»: товарищи Корвалан и Дэвис, Брежнев и Кастро, Гусак и Хонеккер, Индира Ганди и душ Сантуш, щедро приукрашенные моей рукой, радостно подмигивали мне («Не робей, мол, товарищ, вперед, к победе коммуниз-

ма!»), иногда прямо на лице какого-нибудь товарища я второпях писала «прощельга чертов, только и знает с москвичом пить!» или «а здравствуй, милая моя!», но ни Индира, ни Луис, ни Фидель никогда не обижались.

И вот я часами просиживаю на голубой чаше, которую я прозвала Эйфелевой башней. «Опять засела, – ворчит мама, – нет чтобы матери помочь, корова чертова». А я, не обращая ровно никакого внимания на ее причитания, радостно пою: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – и мой голос взмывает к потолку, словно птица, касается крылышками стен, и парит, парит... Париж... Боже, как хорошо: сидеть на голубой чаше, слушать журчание воды, шуршать газетными обрывками, разрисованными и расписанными моей рукой, и петь, петь «Пари-и-и-иж-ш-ш-ш!» А-а-а-а-а-а...

«Ты вещи будешь собирать, халда? – рывкает мама и долбится в дверь туалета. – Вот ведь наказание, а! Ну ты-то хоть скажи ей! – теревит мама папу. – Приросла она к этому унитазу, что ли? Выстудит там всё себе, виса!» «Да пошли вы, – огрызается папа, – надоели как собаки».

Крики смолкают. Я выскальзываю из своего укрытия – дверь подозрительно скрипит – и, трусливо озираясь, прячу папку «Дело №» с «рукописями» в верхний ящик письменного стола. «И сидит, и сидит! – ворчит мама где-то на кухне. – Послал же Господь на старость лет довесочек! У людей дети как дети, а эта... нет чтобы...» Я ставлю пластинку Со-

фроницкого, черные волны медленно плывут перед моими глазами – и мамин голос тонет в этих волнах. Пятнистый чемодан бесстыдно распахнул свою пасть, обтянутую грязным обшарпанным сатином, и требует от меня жертв. Пожалуй-ста! Я швыряю в сатиновую глотку желтое вязаное платье с оранжевыми бусинами, синее в клетку платье с откидной грудкой в виде сердечка, юбочку-плиссе, индийскую мохеровую кофточку горчичного цвета, вельветовые брючки, трусики, маечки, туфельки с пряжками, всякие заколки-браслетики. А потом бережно извлекаю из письменного стола свою драгоценность, папку с «рукописями», и засовываю ее между платьем с сердечком и юбкой-плиссе.

«Говóрыт Киев. Одиннадцать годын, тридцать хвалын». Трускаве-е-е-ец! Я ступаю по красным ковровым дорожкам «кэгэбэшного» санатория, кормлю голубей на площади, пью «Нафтусю», ем конфеты «Красный мак», делаю уроки (мы притащили с собой целую сумку учебников и тетрадок), хожу на озокерит к Стефе и рассказываю об Алеше, а она вздыхает: ох дывка! Я надеваю красивые наряды, заказываю в столовой штуфáт с гречневой кашей, мусс и суп фруктовый, а по вечерам мы с девчонками идем в танцевальный зал поглазеть на вальсирующих, а когда включают быструю музыку, скользим по новенькому паркету. Меня даже приглашает «один дяденька»: «Как красиво ты танцуешь, девочка!», – но мама цыкает на него, так что стекла ее очков дребезжат от злости: «Она же еще ребенок!» – и дяденька, покраснев,



приглаживает свою «плешь». («Скотина плешивый, девчонку чуть не уволок!» – пишет на следующий день мама тетя Дусе. – И эта шалавая растет. Не знаю, что и делать! А так все хорошо: на аппетит не жалуемся, погода отличная».)

Вечером танцы. «Никуда не пойдешь! Уроки учи!» – строжится мама. А мне только того и надо! Мама за дверь, а я вытаскиваю свою драгоценность – рукопись (я ее под матрасом спрятала), разглаживаю морщинки на ее лице, люблюсь неровным почерком, выделяющим замысловатые па на бумаге, сдуваю несуществующие пылинки, потом робко беру ручку: рука моя зависает в воздухе (руки пианиста так взмывают над клавиатурой... Лилия Григорьевна... на мгновение мысль моя летит к ней... я совсем не помню ее лица, только слова, прокуренные, с хрипотцой: «Не предавай искусство, деточка!»), рука моя зависает в воздухе, я вдыхаю полной грудью – и выдыхаю кривыми буквами на бумагу. Буковки стыдливо жмутся друг к дружке, а потом, словно сорвавшись с цепи, пускаются в стремительный пляс! Наплясавшись всласть, ложатся прыгающими строчками на бумагу и поют: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» Хорошо-то как! На часах «двадцать две годыны», слышу, как мама (кто ж еще) подходит к двери по мягкому кэгэбэшному ковру (быстро хватаю рукопись и засовываю ее в папку, а папку под матрас), слышу, как кто-то крадется за ней (так крадется в советских фильмах шпион), как мама вставляет ключ в замочную скважину. «Анночка

(что еще за Анночка?.. так маму не называет никто), ну куда вы торопитесь? – грассирует кто-то (шпион тоже обычно говорит по-особому, не так, как все советские люди). – Время – детское. Еще по рюмочке?» (они, шпионы, всегда сбивают с пути честного советского человека).

«У меня ребенок один», – щебечет мама и поворачивает ключ в замке. «Ну не грудной же ребенок?» – «Нет, Валентин, нет». – «Ну, не знаю...» Какая-то возня, поворот ключа... «Смешно, честное слово», – это снова Валентин. А мама уже открыла дверь и, взволнованная, красная, втискивается в узкий проход. Но волосатая рука – я вижу ее – преграждает маме путь. «Анночка!» – «Валентин!» – «Ну Анночка!» – «Ну Валентин!» – «Анночка, ну...» Я болею за маму: мне не нравится волосатая рука Валентина (этого шпиона несчастного).

Жилы на маминой шее напряжены, очки вот-вот лопнут – она выпячивает грудь и... разрывает волосатую руку, вот как бегун – финишную ленточку. А потом «бум-м-м!» – это дверь захлопывается прямо перед самым носом Валентина: я успеваю заметить черные усы, лакированную лысину и майку с олимпийским мишкой на груди. «Ты почему еще не в постели?» – ворчит мама. Она не может отдышаться. Плюхается на свою кровать, утирает пот со лба, пьет воду из графина, обливается. Кто-то – Валентин, кто еще! – стучит в дверь. Мама срывается с места, подбегает к двери. «Прощельга чертов!» – звучит в моей голове мамин голос. Ви-

дел бы ее папа... Бедная мама, она отчаянно пытается прогнать Валентина. Тот не сдается. «Ну чего уши развесила?» – кричит мама. Но кричит виноватым голосом, то и дело утирая пот со лба: никогда не видела, чтобы со лба столько пота стекало, вот будто это не лоб, а Ниагарский водопад. Жалко мне маму. Я подхожу к двери и громко говорю: «Я знаю, что вы шпион...». Не успеваю договорить – кто-то (ясное дело, кто – Валентин), срывается с места и мчится по коридору, яростно стуча подошвами. «Стукач!» – распахиваю я дверь и кричу в спину Валентину. Бедолага разворачивается всем корпусом, щелкает пятками клетчатых тапочек. Олимпийский мишка улыбается во все Валентиново пузо, лакированная лысина блестит, усы словно бы кто прилепил к верхней губе: дерни за кончик – и оторвешь. «Я... я... советский офицер!» – брызжет слюной Валентин. – Оф... офицер! Я буду жаловаться!» Я захлопываю дверь. Мама, красная от напряжения, сползает по стенке, держась за живот. «Жалуйся, – хохочет мама, – офицер! Фриц ты несчастный, вот ты кто!» «Я ж говорю: шпион!» – смеюсь я. Я люблю смеяться с мамой, люблю, когда мы заодно. Редко это бывает...

Утром мы идем с мамой в столовую по большому стеклянному переходу (в этом переходе зимний сад: здесь меня целовал Сережка Морозов, вон у того кустика!), мы идем по переходу, а за нами крадется кто-то... «Анночка, на несколько слов», – и Валентин отводит маму в сторонку. Лакированная лысина его взволнованно блестит, усы топорщатся, а

олимпийский мишка как ни в чем не бывало улыбается во все пузо. Мама недовольно морщит нос, так что очки прыгают. Глянув на меня, переминающуюся с ноги на ногу, мама машет рукой: иди, мол, в столовую, нечего тут торчать. Но я пожимаю плечами, делая вид, что не поняла маминых намеков: жуть как интересно узнать, чем у них дело кончится. Отдыхающие торопятся на завтрак, искоса поглядывая на эту «парочку», которая мешает им поскорее добраться до заветной порции пудинга или творожной запеканки. «Ну я же серьезный человек, – поет Валентин, – ну как же вы?..» Мама что-то бурчит себе под нос – ничего не слышно! Я отчаянно нюхаю розу: колючая, собака! «Идем, доча!» – бедняжка хватает меня за руку. Она никогда не называет меня так: «доча». Горячая волна нежности разливается по моему телу: мамочка... Я зыркаю на Валентина. «Если вы еще раз пристанете к моей маме, – выстреливаю я, – мне придется (хм, а что придется-то?)... мне придется... сообщить в органы!» «Я сам органы», – грассирует он, однако от мамы отходит. Она надувает губки, словно маленькая девочка, которую лишили сладкого, потом встряхивает головой, поправляет очки, и мы бодрым шагом идем по зимнему саду в столовую.

«Отцу про этого, – мама краснеет, – фрица ничего не рассказывай, поняла?» Я киваю. Мы собираем вещи. Пришло время уезжать.

В Новосибирске гололед и... конец четверти. Я приехала с курорта, не училась больше месяца, вся в обновках. «По-

думаешь, Трускавец, – фыркает Сусекина, глядя на меня, порозовевшую и похорошевшую от частого приема «Нафту-си», душа Шарко и грязевых процедур, – мы с мамой летом в Югославию поедem». Она обдает меня ароматом каких-то нездешних духoв и проходит мимо. Югославия... Не Париж, конечно, но все же... Я краснею и сажусь за свою камчатскую парту. «Чуда чокнутая, – слышу, как шепчутся пацаны – Герис с Заходером, – она в психушке лежала». Шепчутся и пялятся на меня круглыми от страха глазами. Аленка Буянова и та отвернулась (ладно-ладно, отличница несчастная): это Сусекина ее науськивает, ясное дело. «Шива (Борька сидит на первом ряду, прямо под носом у Степаниды Мишки), сядь-ка к Чудиновой, – Степанида Мишка машет рукой, показывая Борьке, куда ему сесть, – а Захарчук сядет на твое место: болтает много». Заходер нехотя запикивает свои вещи в выдавший вид портфель. «А чё я-то?» – пикирует Борька. «Ничё, – парирует Степанида Мишка, размазывая помаду по подбородку, – давай-давай». «Не буду я», – бурчит Шива. «Боря, мы ждем», – Степанида Мишка выдерживает театральную паузу. Борька, насупившись, словно воробышек, опускает голову и скрекивает руки на груди. «Шива, ты урок сорвать хочешь? – стальным острым голосом отрезает Степанида Мишка и, словно полководец, окидывает взором маленького Борьку. – Конец четверти на носу, а ты тут, понимаешь...» «Степанида Михайловна, ну пожалуйста...» – клянчит Борька. «Да он Чуду боится, – вступает за Шиву

Герис, – она из психушки сбежала». «Сбежала, сбежала», – лавиной пронесится по рядам. «А ну прекратить! – рывкает Степанида Мишка и топает ногой. – И чтобы я больше этого не слышала! Таня Чудинова ездила в санаторий. Танин папа работает в кэ...», – Мишка прикусывает язык. Тишина. Такая, будто телевизор продолжает показывать, но вот звук пропал. Я выпрямляю спину и с презрением смотрю на одноклассников... простые смертные... Кэгеба – это сила. Секунд десять – они тянутся целый час – не спадает это оцепенение, потом кто-то выдыхает, кто-то чихает, кто-то хлопает носом. Борька Шива на цыпочках крадется к моей камчатской парте, смотрит на меня затравленным взглядом. Я королевским жестом убираю свой портфель с соседнего стула: милости прошу. «А ты правда была в кэ... – заикается Борька, – ой, то есть в санатории?» Я набираю в легкие воздуха, я хочу разнести этого недостойного своей фамилии Борьку в пух и прах, но вид его так жалок, что я просто мотаю головой: правда, мол. Борька что-то лепечет, по-хозяйски раскладывая на парте свои книжки-тетрадки, Степанида Мишка скребет по доске мелом, раскрасневшаяся Аленка Буянова оборачивается и сверлит меня своими глазками-буравчиками («Ну да, Таня!») – косички топорщатся, Анька Шпакова тихонько крестится, Лариска Кащенко достала из парты зеркальце и помаду и мажет губы, Кузя ковыряет в носу...

Алеша, где ты?..

Звенит звонок. «Минуточку внимания! – спохватывается

Степанида Мишка. Ее голос тонет в радостном гуле: летают портфели, хлопают крышки парты, в распахнутое окно врывается колючий мартовский воздух. – А ну прекратить! – визжит Степанида Мишка, яростно размазывая помаду по подбородку. – Сели все на места!» В класс входит Табуретка. «Здравствуйте! – Беснующиеся, завидев ее квадратную жопень и раскаленные стеклышки очков, подскакивают и встают по стойке смирно. – Садитесь. – Табуретка покровительственно машет рукой. Все, в том числе и Степанида Мишка, садятся, выпучив глаза и разиня рот. – Ребята, – сладко поет Табуретка, так сладко, что у меня холодеет спина, – ну чего вы такие кислые? Ну? – она раздвигает губы, изображая улыбку. Я замечаю щель между ее верхними передними зубами (папа сказал бы, что Табуретка «каразубая»). – Я вот чего пришла. А не поставить ли нам спектакль? – Степанида Мишка извивается всем телом, словно рыба, которую вытащили за хвостик из аквариума и кинули на раскаленную сковородку. – Хочу представить вам Савелия Матвеевича... а где он, кстати?... – Табуретка вертит головой. И тут мы замечаем, что откуда-то выныривает мужичонка неопределенного возраста: остренькая бородка, глазки-буравчики, потертые штаны. Мужичонка сучит ногами, чешет бороду, панибратски подмигивает нам. – Савелий Матвеевич, ребята, режиссер, он работал... – В театрах страны, – подхватывает мужичонка. – ...в театрах страны, – поет Табуретка. – А теперь он возглавит театральный кружок в нашей школе

(когда я, радостная, приду домой и сообщу, что в школе появился театральный кружок, вести который будет самый настоящий режиссер: «Он работал в театрах страны, а теперь – у нас в школе!» – мама хмыкнет: «Небось, алкаш какой-нибудь: за пьянку турнули – не доведут до добра эти театры!»), а теперь он возглавит театральный кружок в нашей школе, – продолжает Табуретка. – Кто хочет записаться? – Я поднимаю руку. Урра! – Чудинова, – считает по головам Табуретка, – Буянова, Кащенко...»

А мы уже ставили спектакль в прошлом году. Помню, сидим с девчонками после уроков, и тут вбегает пигалица Аленка – косички взлетают к небу: «Давайте ставить сказку!» Лариска Кащенко (Кащенко этой лишь бы воображать):

«Ух ты, четкáчно! Давайте, давайте! – кричит. – Я, чур, принцесса!» Тоже мне, принцесса выискалась! «А мы ”Золушку” будем ставить, там принцесс нет», – пищит Аленка. «Тогда я, чур, Золушка!» – выпрыгивает из школьного форменного платья Лариска, такое коричневое платьице, с белым кружевным воротничком (одна морока с этими воротничками: их каждую неделю нужно стирать и пришивать к воротнику).

«Нет, Золушкой будет Аня Шпакова, – машет руками Аленка, косички топорщатся: настырная пигалица! – у нее ножка маленькая, а у тебя...» «А чего это ты раскомандовалась? – сверкает очками Лариска. – Командир полка, нос до потолка, уши до дивана, сам как обезьяна!» – «А ты...» –



«Жопой нюхаешь цветы!» «Эт-т-то что такое? – Степанида Мишка! – Кащенко, в школу без родителей можешь не приходиться, ты меня поняла?» Лариске стыдно: она смотрит поверх очков на Степаниду Мишку, красная как помидор: «Степанида Миш... Михаллна, а чё она?..» Но Аленка Буянова – гордость школы. Что позволено Юпитеру, не позволено быку (Аленка – Юпитер, Лариска – бык, дело ясное). Мы играем «Золушку». Мне дали роль мачехи. «Меринос чертов! У всех дети как дети, а эта...» На мне соломенная шляпка, которую мне дала Галинка, мамино сиреневое платье (мама это платье молоденькая носила: «Жрать нечего, – вспоминала, – живот к спине пристал. На рынок придем: у кого семечек тяпнем, у кого капуста квашеной, у кого салца кусочек – вот и сыты, во всё горло идем хохочем (тетя Дуся рассказывала: «Уже с моим жили (с дядь Митяем). Гостей позовем, стол накроем – а на столе-то краюха хлеба, кваса банка да луковица: нашинкую мелко-мелко – слезами оболуюсь. Сидим песни поем. Весело жили!»). Стипешку дадут, – продолжала мама, – а что там давали-то, копейки! – скинемся и утробу не набиваем, вот как вы (мама повышала голос и грозила нам с Галинкой пальцем), а платьице на всю комнату купим (мама в Индустриальном техникуме училась, в общежитии жила) и по очереди на свиданку в нем бегаем... я чаще других бегала (мама опускала глаза): самая красивая была... да дура, с прощельгой этим связалась чертовым... такие парни ухаживали...»), на мне соломенная шляпка, ко-

торуую мне дала Галинка, мамино сиреневое платье и са́бики Аленкиной матери Лилии Емельяновны (Аленка измором взяла).

«Замарашка, что такое? – с выражением ору я. – Пережарила жаркое! Грязь на стенах, пыль кругом. Перевернут весь мой дом!» «Я всё мыла, – пищит маленькая Анька Шпакова, обряженная в драное платье и вымазанная копиркой, – убирала...» «Да тебя убить-то мало!» – грозно изрекаю я и победоносно смотрю в зал. Следующая сцена: мачеха с дочками собираются на бал. Дочки – Лариска Кащенко и Аленка Буянова. Лариска напялила мамино платье с открытой спиной, вот дура. Аленка обмоталась красной шторинной. «Маша, Даша!» – ору я со сцены. «Ась, мамаша!» – в голос пищат Аленка с Кащенко. Они в зрительном зале, отмахиваются от пацанов, которые не дают покоя Ларискиной голой спине. «Вы готовы?» – «Да, мамаша». – «Так сейчас же, поскорей, запрягайте лошадей». Девчонки срываются со своих мест и дуют на сцену. Пигалица Аленка, запутавшись в шторине, растягивается на лестнице. В зале буря аплодисментов. Слышу, как Степанида Мишка шепчет Табуретке: «А Чудинова-то – ну просто Нонна Мордюкова!»

На следующий день руководитель нашего театрального кружка Савелий Матвеевич назначает «читку». Я, Аленка, Лариска и две «бэшки» – Ирка Попова и Ярославка (Ярославку мы называем просто Славка – на самом деле ее зовут Ярославна) Тряхова – отираемся у кабинета, на двери кото-

рого нацарапано «Театральный кружок». На часах без четверти шесть. Савелия Матвеевича нет. Мы стоим молча, десять минут стоим, пятнадцать. «Проходимец этот Савелий, – не выдерживает Славка Тряхова. – Мама моя (Славкина мама работает в нашей школе училкой; у нас, «ашек», уроки ведет Степанида Мишка, у «бэшек» (бедная Славка!) ее мать Рогнеда Кирилловна (язык сломаешь, правда «бэшки», в отличие от нас, неблагодарных, которые склоняют бедную Степаниду Мишку как хотят, – училку свою Рогнедой Кирькой или Кирюшкой не называют)), – мама моя сказала, что его турнули из театра за пьянку – и теперь он на нас будет экспериментировать». «Ну и пусть экспериментирует, – кривляется Лариска Кащенко, – я давно о сцене мечтаю». И тут появляется Савелий Матвеевич, но не один: с ним какой-то тип в ватнике поверх тельняшки, на лице сивая щетина, в руках пустая авоська. «Ну что, орлы? – гаркает Савелий Матвеевич. – На чистку пришли?» «Во-первых, мы не орлы... а орлицы, – пищит отличница Аленка, – а во-вторых... не надо нас чистить...» «Слышь, Сава, – хрипит Авосечник (Авосечником я его прозвала), – не надо, говорит, чистить!» – «Ну да, ну да... чистка – это из другого опера... оперы», – невнятно машет головкой Матвейч (а Савелия я давно уже Матвейчем называю).

Он открывает дверь, впускает нас в кабинет. Мы садимся на камчатку, кладем на парты ручки, тетрадки. «Я, это, сгоняю пока...» – подмигивает Матвейчу Авосечник. Матвейч

еле заметно кивает, потом берет мел и размашисто пишет на доске: «Гамлет». Мел крошится, белые хлопья, словно снег, падают на пол. Девчонки раскрыли рты: «чистка», «сгоняю», «опер», «Гамлет»... Все это не укладывается в их голове... головах – а в моей почему-то уложилось: мне почему-то радостно-весело, мне почему-то кажется, что Матвеич сейчас что-то такое выкинет, такое... мне даже хочется прокричать: «Давай, Матвеич, давай свою оперу!» – и потирать ладошки. А Матвеич «наснежил» и смотрит на нас птичьим глазом. «Н-да... – бормочет он себе в бороду. – С вами “Гамлета” хрен поставишь...» И тут встаю я: «Я буду играть Гамлета». Матвеич улыбается. «Да ты вообще знаешь, что это такое? А? Ты знаешь, что такое... когда... Ты видела, как Высоцкий играл это?..» – он спохватывается, достает из-за пазухи потрепанную книжку. Я не видела, где уж мне – Ираида Николаевна видела, сама рассказывала: «Быть или не быть?» – произносила она, а мне чудился хриплый голос Высоцкого. Однако Савелий Матвеевич «Быть или не быть?» не читает – он закидывает голову, смешно тыча бородкой в потолок, и как-то по-петушьи вопит: «...Я не хочу / Того, что кажется. Ни плащ мой темный, / Ни эти мрачные одежды, мать, / Ни бурный стон стесненного дыханья, / Нет, ни очей поток многообильный, / Ни горем удрученные черты / И все обличья, виды, знаки скорби / Не выразят меня; в них только то, / Что кажется и может быть игрою; / То, что во мне, правдивей, чем игра; / А это все – наряд и мишура». Матвеич рвет на се-

бе и без того драный свитер, опускает голову, тыча бородкой теперь уже в пол, потом смотрит на нас невидящим взглядом. Я аплодирую, девчонки испуганно переглядываются. В этот момент в класс входит Авосечник. Авоська его не пустая, в ней что-то, завернутое в газету. Авосечник подмигивает Матвеичу – Матвеич еще не вышел из образа. «В следующий раз, – задумчиво произносит он, – выучите этот монолог». «А где его найти?» – пищит отличница Аленка. «Ищите, дети, и обрящете», – изрекает Матвеич. Авосечник, растерянно озираясь на дверь, ставит газетный сверток на стол. Сверток радостно звякает.

Мы с девчонками выходим за дверь. Снег пошел – тоже мне, весна, – и я ловлю снежинки ртом. «Я же говорила, проходимец, – повторяет за своей Рогнедой Славка, – небось, еще и деньги ему за нас платят». Я нехотя плетусь за девчонками. «Кто учить будет?» – продолжает в том же духе Славка. Девчонки как воды в рот набрали, даже отличница Аленка помалкивает: спрятала косички свои под шапку, только мышинные хвостики торчат. «Я лично не буду, – заявляет Славка, – пошел он». И тут я как вскрикну: «Ой, а я портфель забыла!» Никакого портфеля я не забывала: я, как пришла из школы, кинула его в угол, и он там валяется себе. Да и пакет с Боярским, где лежит тетрадка, я не забывала: попробуй забудь, Галинка со свету сживет. Девчонки переглядываются: ну иди, мол, а нам с тобой не по пути. И я, радостная (с чего бы?), несусь в школу на всех парах («Ты бы так утром

на занятия бежала, – слышу я мамин голос, будто она подсматривает за мной. – Вся в отца, такая же шалавая растет»). –

Врываюсь в кабинет: красная, мокрая, еле дух перевела. «...да какое, на хрен, искусство? – Матвеич опрокидывает стакан водки, занюхивает вытянутым рукавом свитера. – Где оно, искусство твое? Ты забыл, как меня...» Он замолкает и, так и не опрокинув второй стакан, таращится на меня стеклянными глазами (такие глаза обычно называют осоловевшими, но мой папа говорит «соловьиные глаза», – говорит и смеется).

«Чё, стучать будешь?» – Авосечник подмигивает мне и хрустит соленым огурцом. Я краснею, выхожу за дверь и робко стучусь. Авосечник с Матвеичем ржут. «Ну ладно, кончай, – сипит Матвеич, – не видишь, девчонка не в себе? – И мне: – Забыла чего?» Я мнусь в дверях. «У-у, – машу я головой, – нет. Можно с вами посидеть?» Авосечник, открыв рот, смотрит то на Матвеича, то на меня, то на стакан с водкой, который он держит в руке на уровне подбородка. «Слушай, иди отсюда, а? Не видишь, мы тут...» – он кивает на стакан. «А я не буду мешать, – бубню себе под нос я, – я тихонько». «Тебя обидел кто? – Матвеич глядит на меня «соловьиными» глазами. – Ты скажи, я ему...» «Не обидел... – я опускаю глаза. – Пропал... я его потеряла... не могу найти... Вы не поможете?...» Я не могу сдержать слез, мне стыдно перед незнакомыми дядьками вот так вот выворачивать наизнанку душу. Быть или не быть... а можно и быть – и не

быть?.. «Потеряла? – задумчиво тянет Авосечник. – Значит, он потерянный? Сава, слышь? – он поворачивается к Матвейчу. – А мы потерянные?» Матвейч опрокидывает стакан в горло, утирает рот рукавом свитера, мотает головой, словно собака. «Мы? Потерянные...» «А кто вас потерял?» – спрашиваю я. «Сами... сами и потеряли...» Мы сидим молча. Матвейч с Авосечником пьют, закусывают солеными огурцами (огурцы эти они достают грязными руками из целлофанового пакета) и черным хлебом. «Ты не грусти, – пытается успокоить меня Матвейч, – найдешь... Ибо сказано, – он поднимает палец, – ищите и обрящите...» «А может, он, ну, твой, – подхватывает Авосечник, – не хочет, чтобы его нашли, а? – он подсакивает, закидывает голову – вот как Матвейч закидывал – закрывает глаза и, растягивая слова, читает: «Умереть, уснуть – / И только; и сказать, что сном кончаешь / Тоску и тысячу природных мук, / Наследье плоти, – как такой развязки / Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть!» «Браво, браво! – дверь открывается, на пороге... Табуретка... И вдруг ее словно током ударило. – Это что такое? – орет она. – Это что за притон? Чудинова! – такое чувство, что от стеклышек ее очков идет пар. – Чудинова, ты что здесь делаешь? – и тише: – Они тебя трогали, скажи, трогали?» – Я мотаю головой: нет, мол, не трогали. Она орет что-то про имя школы, про отца, которого я позорю, даже про органы: оказывается, я позорю и органы, про то, что «я не знаю, что с этой Чудиновой делать, всю душу мне вымота-

ла», про то, что «вы не художники – какие вы художники? – вы алкаши несчастные, вас на сто первый километр надо сослать, чтобы вы работали, а не водку жрали, а то устроили здесь, понимаешь; вам не для того класс выделили, чтобы вы лакали тут, вам доверили воспитание подрастающего поколения, – чтобы вашего духу тут больше не было». Матвейич собирает со стола остатки «пира»: пустые бутылки, целлофановый пакет с недоеденными огурцами, горбушку черного хлеба. Потом молча все это кладет в холщовую сумку и выходит вон. «Офелия? – оборачивается он и глядит на меня совершенно трезвыми глазами. – В твоих молитвах, нимфа, / Все, чем я грешен, помяни».

У меня такое чувство, что сейчас они – и Матвейич, и Авосечник, и Табуретка – рассмеются, похлопают меня по плечу: ну что ты, мол, мы же все это выдумали специально, мы же притворялись, разыгрывали тебя, а ты поверила, глупенькая, мол, не может же всё быть таким плоским и пошлым (Ираида Николаевна говорит, что пошло – это то, что пошло: пошло-пошло и стало пошлым).

Я уже готова рассмеяться вместе со всеми: эх вы, мол, ну зачем же вы... Но никто не смеется и не хлопает меня по плечу...

Я выхожу в стужу. Темно, с неба падают какие-то иголки, а не снежинки, и эти иголки вонзаются в щеки, в нос, в губы. Вокруг – никого. Вот так, наверное, и выглядит этот самый сто первый километр. «Париж-Париж, Париж-Париж,



Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!..» Алеша, а ты? Где ты?.. Неужели и ты меня разыграл?..

Плетусь, не разбирая дороги. Прикрываю варежками лицо от этих чертовых иголок, которые кто-то кидает с неба, ноги – чурки деревянные... «Чудинова? Таня? – слышу я противный голосок, такой... с волосами, зачесанными на лысину... дядь Саша, в милицейской форме, пунцовый, того и гляди, лопнет – принесла нелегкая! – А я смотрю, кто это идет так поздно? А? – дядь Саша смеется окоченевшим смехом, похлопывая меня по плечу. Я дергаюсь. – Эх, Чудинова Таня, Чудинова Таня, не по той ты дорожке пошла, ох не по той. – Я поворачиваю в другую сторону. – Ну ты дурака-то из меня не делай». Он хватает меня за руку и тащит к нашему дому. Я пытаюсь вырваться – хватка мертвая: брыкайся не брыкайся... «Дядь Саш, отпусти, я сережку потеряла», – кричу я. Дядь Саша притормаживает. «Какого Сережку?» – поет он своим «зачесанно-лысинным» голоском. Откуда он знает? Откуда он знает, что я потеряла именно «какого»?.. «Не Сережку – Алешку...» – само выскакивает... Заталкиваю колючую варежку в рот: молчок (а перед глазами плакат (где я его видела?) «Не болтай»)! «Алешку, говоришь? – улыбается дядь Саша. – Ну идем». «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – тихонько подвываю я, а зубы мои стучат. Дядь Саша хватает меня за шиворот и тащит, словно собачонку: я только в подъезде понимаю, что мы не в отделении (почему-то мне

приходит в голову, что дядь Саша доставит меня в отделение милиции, «тепленькую»), а дома, на Фрунзе. «Вот, Нюрочка, – крикает он в кулачок, «сдавая» меня маме, открывшей дверь и выпучившей свои очки – того и гляди, лопнут от напряжения, – искала какого-то Алешку». Дядь Саша мнетя в дверях, лыбится, сверкая своим зубом золотым, явно рассчитывая на «чаёк». Мама качает головой, прикрывая рот ладошкой: мол, и что с нею делать, совсем от рук отбилась! «Где ты была? – стонет она. – Ночь на дворе! Опять с этим... болталась?» Ах, мама, да я бы всё отдала, только бы болтаться с ним, слышишь? Но его нет, он пропал! Мама буквально вырывает меня из рук дядь Саши, захлопывая дверь перед самым его носом. «Нехорошо, – поет дядь Саша сквозь замочную скважину, – нехорошо так с органами поступать». «Не пужай – пужаная, – кричит мама. – У меня вон свои “органы” под боком». «Органы под боком» – это папа, который «поил москвича» и теперь спит невинным сном младенца, пуская пузыри. «Где тебя черти носили? – мама – а у самой глаза заплаканные – достает из холодильника сырокопченую колбасу, которую папа принес в качестве трофея с «охоты» на москвича. – Скоты неблагодарные... Мать не ест, не спит – всё им, всё им... а они...» – мама нарезает колбасу, облизывает пальцы, придвигает тарелку с колбасой мне: поешь, мол. Я молча киваю головой. Входит сонная Галинка. Хватает кусок колбасы, вгрызается в него, брызжет слюной. «Ну надо же, а? – вспыхивает мама. – Ты бы так на женихов на-

брасывалась!»

Прихожу в школу. На доске объявлений висит фотография Матвеича (к фотографии этой кто-то уже успел пририсовать рожки и клыки – ну чистый Мефистофель!), а под ней написанный от руки на тетрадном листке в клетку текст: «За распитие спиртных напитков в присутствии несовершеннолетней (несовершеннолетняя – это я, но имя мое не упоминается, спасибо и на этом) и срыв занятия театрального кружка уволить руководителя театрального кружка Маркуса (буква «у» зачеркнута) Савелия Матвеевича (отчество тоже зачеркнуто, вместо него кто-то подписал «Карловича»)».

И подпись: «Заведующий учебной частью Стулова Нинель Поликарповна (ниже кто-то накарябал «Табуретка» – и табуретку же изобразил)».

Да, они откуда-то взяли фотографию Матвеича, на которой он изображен в профиль. Такие фото я видела в картотеке царской охранки – в какой-то книжке видела. Маркус... какая странная фамилия... и на Алешину похожа... К доске объявлений подходит Табуретка: но сначала я слышу, как стучат ее каблуки. «А, Чудинова? – цедит сквозь свой щербатый зуб Табуретка. – Скажи спасибо, что тебя не привлекли к этой темной истории». «Спасибо...» – шепчу я. «А театр у нас – будет!» – неожиданно, как-то торжественно и звонко, заявляет Табуретка.

И как только прозвенел звонок, она бодро входит в наш класс. «Ребята, – заявляет она с порога, – мы, администра-

ция школы, не доглядели – каемся. – Что это с ней? Того и гляди, упадет на колени и ударит лбом о землю! – К нам в доверие втерся... недостойный человек. – Она долго ищет это слово «недостойный», перебирая все имеющиеся в ее лексиконе обозначения «проходимца». – Он пытался растлить юные, увлеченные театром души, но этот номер у него не прошел». Табуретка еще долго вещает про растление юных душ, про то, как «бдительность администрации школы позволила на корню задушить семя тли» (Табуретка так и сказала: «семя тли»!), про то, что мы и «без этих» (она делает акцент на слове «этих») поставим «еще какой спектакль». И добавляет: «Правда же, Степанида Михайловна?» Бедная Степанида Мишка выпучила свои рыбки глаза и возюкает помадой по губам, словно уже готовится к этому самому спектаклю и наносит грим. «Какой спектакль, Нинель Поликарповна?» – как-то странно сипит она. «А вот вы и решите, Степанида Михайловна. Мы вам доверяем». Табуретка выходит из класса, а Степанида Мишка еще долго возюкает помадой по губам, уставившись на дверь. «Мы вам доверяем...» – одними губами произносит Степанида Мишка.

На следующий день Степанида Мишка заболевает: от «доверия» ли, еще от чего (Табуретка, например, заявляет, что это мы «довели бедную учительницу») – нам по барабану, мы орем во все горло «Урррра!». Орем, покуда в класс наш не входит Рогнеда Кирилловна и, сощутив глаза и свысока глянув на нас, «потерявших всякий стыд», не хлопает жур-

налом по столу...

Степанида Мишка появляется, высохшая, совершенно седая, побледневшая, с тонкими потрескавшимися губами (я впервые вижу ее губы без помады!), с каким-то остановившимся взглядом, в самый последний день четверти, чтобы поставить нам итоговые оценки. Я вздрагиваю: за какие-то десять дней (я слышала эту знаменитую фразу «Десять дней, которые потрясли мир»), за какие-то десять дней она превратилась в старуху! В безразличную старуху, которая как-то беспомощно передвигается по классу. Мы все – все тридцать три человека – открыв рот, следим за ее телодвижениями. Степанида Мишка скрипучим голосом произносит фамилию ученика и его оценки за четверть. Я в списке почти в самом конце: за мной только Шишкин, Шпакова и Янькин – ждать еще долго. Но я не могу оторвать взора от сухих, еле шевелящихся губ, с которых слетает еле слышное слово. «Чудинова», – шепчет Степанида Мишка. Я вздрагиваю. И в этот момент в класс входит Табуретка. Степанида Мишка как-то затравленно вжимает голову в плечи. «Ну наконец-то, дорогая Степанида Михайловна! А то уж мы заждались. Правда, ребята?» Мы нехотя киваем, не отрывая глаз от вжатой в плечи головы с остановившимися стеклянными глазами. «Ну что, орлы? – не унимается Табуретка (Матвеевич нас орлами назвал!). – Спектакль ставить будем? – Степанида Мишка прикрылась журналом и не шевелится. – Ну и прекрасно, – лыбится Табуретка, сверкая своей дыркой меж-

ду зубов. – Аккурат к Дню пионерии успеете. Архиважное дело». Она хлопает дверью, Степанида Мишка называет наши с Шишкиным, Шпаковой и Янькиным оценки (у меня – оценки хорошие, у всей троицы – плохие), закрывает журнал и молча направляется к выходу. «Степанида Михайловна, – кричит ей в спину Лариска Кащенко («актриса погорелого театра», – так выражается моя мама), – Степанида Михайловна, а кто спектакль-то ставить будет?» Степанида Мишка на миг притормаживает, но потом снова продолжает свое черепашьё движение к выходу. И тогда, как-то ссутулившись, словно извиняясь, встает Аленка: «Я буду...» – пищит, аж косички взмывают к потолку, отличница несчастная, – но тут же оседает, словно пустой мешок. Степанида Мишка еле заметно шевелит губами (Аленка любимая ученица Мишки, гордость класса), я пытаюсь взглянуть в это шевеление, но не могу разобрать тихое слово, слетающее с высохших уст старухи...

Каникулы приходят вместе с капелью. Барабанит по крышам будь здоров! (А мне совсем не хочется пропевать эту капель нотами...) Земля скинула с себя ледяное покрывало и теперь, словно шалавая девка (почему-то мне в голову приходит именно это сравнение, наверное потому, что мама про меня говорит «шалавая растёт, вся в отца»), развалилась под ногами и сверкает бутылочными осколками, бычками, собачьими котяхами, как говорит моя бабушка. А ночью подмерзнет – ноги переломаешь. Вася-дворник посыпает до-

рожки песком, ругается на нас с Аленкой: мы сбиваем уродливые сосульки, лижем их, будто это гигантские прозрачные леденцы. «Ы, ы!» – мычит Вася и бьет себя рукой по горлу: простудитесь, мол, дурехи. Мы хохочем, уворачиваемся от Васиной метлы. «А когда мы твоего... – Аленка краснеет, исподлобья смотрит на меня. – Ну, твоего... будем искать?» Она не знает, что я несколько раз звонила на мамин завод и, прокашлявшись, просила к телефону Марию Михайловну, а иногда Марию Михайловну Миркес, и каждый раз мне грубо отвечали, что «такой тут нету и не было никогда, нечего трезвонить». Не знает Аленка, что я ездила в Плахотную школу и заходила в кабинет котоватого директора: «Вы обещали найти... и повесить... одного мальчишка». Не знает, что котоватый смотрел с прищуром, мы шли с ним к доске почета, осматривали дырку, которая так и сияла своей бесстыдной наготой, не знает, что котоватый разводил руками... Не знает Аленка и того, что я бегала по дворам, спрашивала у старух про Эдит: уж ее-то ни с кем не спутаешь! – но старухи мотали головами: не видали, мол, не слышали... «А когда мы твоего... будем искать? – Аленка осторожно касается моей руки, вздыхает. Я молчу, уставившись в одну точку. – А почему бы твоему папе... – Аленка прикусывает язык. – А этот, ну, сосед ваш, милиционер? Может, он поможет? – Я мотаю головой: ага, жди, поможет он. – А давай дадим объявление, а?» – радостно выкрикивает Аленка: ее шейка смешно торчит из воротника – ну не любит она шарфы! Я поднимаю

заплаканные глаза: как это? Аленка хватает меня за руку, и мы бежим к киоску «Союзпечать» (Шоба любит приставать: «Устроилась?» – «Куда?» – «В “Союзпечать” говно качать», – и лыбится, дурак несчастный).

«Нам “Вечерку”, пожалуйста», – Аленка с умным видом кидает монетку в окошко киоска. Через час мы в редакции газеты. «Здравствуйте, – пищит Аленка, – а нам нужно дать объявление о пропаже человека». «Ишь ты, какая шустрая, – сипит мосластая тетка: на ней пыльный тяжелый костюм, шея замотана шарфом. – Баловством, небось, промышляете? Знаю я вас, – тетка кашляет, сморкается в серый платок, который она комкает в руках. – Вот с родителями приходите – и давайте свое объявление». Тетка разворачивается и уходит, напоследок прокашляв нам си-си. «Скорее бы вырасти, скажи же?» – говорит Аленка, едва мы выходим за порог редакции. Я киваю, а сама вспоминаю, как Алеша сказал про нас: «Мы взрослые». И тут какой-то мужичок – весь синий, аж трясется, на голове вязаная шапочка «Москва – 80», на ногах грязные кирзовые сапоги: «Девчонки, слышь, двадцать копеек не одолжите инвалиду? Я верну, мамашей клянусь». «Мы одолжим вам двадцать копеек, – пищит пигалица Аленка, – но с условием». «Это с каким это условием?» – испуганно озирается синюшный мужичок. «Вы пойдете с нами и дадите объявление в газету». Синюшный чешет затылок, просовывая клешню под шапку: «Не, я с мильтонами не дружу!» Теперь уже Аленка испуганно озирается. «Мы ищем одного



человека. Помогите, пожалуйста», – всхлипываю я. «Слышь, ты, бедовая, – мужичок подмигивает мне махоньким золотушным глазком, – тебе – подмогну, вот, ей-богу же, подмогну!» Мужичок хватает меня за локоток и в дверь – Аленка плетется следом. «Чего вам?» – сипит мосластая тетка, кашля в пуховый шарф, корчась и сплевывая в мятый носовой платок пух. «Не шурши, – отодвигает ее синюшный. – Нам, это, – обращается он к тонконогой рыжей девице в очках, – объяву надо дать. Ты тут, что ль, главная?» Рыжая надменно зыркает на мосластую. Мосластая вот-вот лопнет от наглости этой «рыжей засранки» («рыжей засранки» – так сказала бы моя мама).

«Я главная, – хватает она золотушного мужичка за шкирку. – Пройдемте». Рыжая цыкает: «Тоже мне, главная!» Мосластая делает вид, что в упор не видит рыжую: «мордуется». «Текст объявления», – выпаливает мосластая. Золотушный косится на меня. Я подаю ему сложенный вчетверо тетрадный листок. «Главная» выхватывает листок из рук золотушного: «Алеша, я люблю тебя! – читает она. – Пожалуйста, позвони мне. Твоя Таня». Я опускаю глаза. Такое чувство, что они, глаза, вот-вот закипят. Золотушный мужичок стягивает шапочку «Москва – 80», чешет оголившуюся плешь, кое-где покрытую рыжим пухом: «Ну бедовая, ну ты...» «Не путайте жанры, деточка, – цыкает мосластая и, как мне кажется, улыбается мне. – Фамилия этого... Алеша? – Я называю. – Возраст? Рост? Приметы? Твои имя и фамилия? – На-

зываю. – Когда пропал? – Говорю. – Раиса Равильевна (нашего соседа по даче на Паровозном зовут Равиль, а папа с дядь Геной называют его Лявиль, потому что он «р» не выговаривает, – представляю, как бы они назвали эту Раису – Лаисой?), Раиса Равильевна, – обращается мосластая к какой-то сухонькой старушке, – пишите – диктую», – и она, словно командир на плацу, марширует по комнатке: – Чудинова Татьяна разыскивает Миркеса (в отличие от Степаниды Мишки... эх, Степанида Мишка, Степанида Мишка... мосластая склоняет фамилию Алеши!), разыскивает Миркеса Алексея. Десяти-одиннадцати лет, рост 150-155 см, худощавый, носит очки, живет на улице Плахотного, пропал в начале января текущего года. Тех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба обращаться по телефону 79-42-44. Написали? – Раиса Равильевна кивает. – Завтра газета с объявлением выйдет – ждите, – и вдруг мосластая командирша кладет руку мне на плечо. – Найдется твой Алеша, не горюй...» – нежным голоском поет она. «Сколько мы вам... того, должны, хозяйка?» – сипит синюшный. «А сколько вам обещали девочки за ваши услуги? (мосластая делает акцент на слове «ваши»)). – «Хм... нисколько...» – «Ну, тогда до свиданья». Синюшный скребет плешь, пучит свои золотушные глазки: «Так я, это... с дочками...» И «Лаиса», и рыжая, и мосластая обдают синюшного мужичка презрением. Фраза его безответно повисает в воздухе. Бедолага как-то бочком проскальзывает в дверь. «Вас ждать, малье?» – подмигива-

ет он нам с Аленькой и, несолоно хлебавши, поджигает губы и ретируется. «Я боюсь», – пищит Аленька. «А я его сейчас провожу», – заглядывает в дверь какой-то дядька в ватнике. «Давай, дядь Коль! – подбадривает его мосластая. – Завхоз наш», – сообщает нам она и смеется. «Слышь, милоч, а ну постой...» – доносится до нас зычный голос дядь Коли. «А сколько мы вам должны?» – виновато гляжу я на мосластую. «Нисколько, – улыбается она, – сама девчонкой была... – она вздыхает, кашляет в пуховый шарф, морщится, сплевывает пух в платок. – Домой идите, ночь на дворе».

На следующий день радостно звонит телефон. Я хватаю трубку. «Объявление в газету давали?» – раздается визгливый бабий голос. «Давали», – робко отвечаю я. «Знаю я, где ваш Алеша, – продолжает визгливая баба («баба плохая» – так мама иногда называет папу), – у нас он, в Каменке, от алиментов скрывается, подлюга!». «От каких алиментов? – кричу я. – Вы что-то путаете! Он еще мальчик!» «Ага, – визжит баба, – это работать он мальчик, а пакостить – мужичок!» Я бросаю трубку: дура какая-то! Бабка продолжает трезвонить, потом успокаивается. Часа через два снова звонят. Я с опаской снимаю трубку. «Але, это Татьяна?» – «Да, Татьяна...» – «Ну здравствуй, Матаня!» – «Зз... здравствуйте...» – «Ну что, я приеду? Одна ты?» – «А вы кто?...» – «Так Алеша я твой, не признала?» – «Нет...» – «А чего ж ты тогда добрым людям голову морочишь? Объявления в газетке строчишь?» – «Я Алешу ищу...» – «А я уже нашел! Говори

адресок». Я швыряю трубку. «Кому это там черти покоя не дают? – зевает бабушка: она отдохнуть прилегла. – Ироды царя небесного». «Номером ошиблись», – бубню я. Часа два телефон молчит. Бабушка уснула: посапывает тихонько, «посыпóхивает», как сама она говорит. Мама пришла с работы (мятных пряников моих любимых купила), и папа пришел («А здравствуй, милая моя! – горланит, но мама цыкает на него: «А ну онемей, образина чертов!»), Галинка закрылась в детской комнате и, небось, конфеты жрет, которые припрятала в секретере. А мне ни пряники не милы, ни конфеты – я жду звонка от Алеши, от моего Алеши! Мама готовит ужин, папа включил телек – сейчас кино начнется (а папа говорит «куно́» – и напевает: «А щас куно мы поглядим, а тру-ли-вали-та-ра-рим»).

Раздается звонок. Я срываюсь с места: «Алло, слушаю!» На том конце провода молчание, потом зуммер: пи-пи-пи... Это он... Боится, глупый! Ну пожалуйста, ну позвони... Минут через пятнадцать снова звонок. «Алло! – кричу я. – Алеша, Алеша!» «Добрый вечер, – приятный мужской баритон, – мне бы Татьяну». – «Я Татьяна». – «Меня зовут Аристарх Евгеньевич...» – «Вы что-то знаете об Алеше?..» – «Кхэ-кхэ... как бы сказать... Какой у вас красивый голос...» «С кем это она там разговаривает? – кричит с кухни мама. – Жора, я кому говорю? С кем она там разговаривает?» «Надо-ели, мать вашу», – кряхтит папа, выходит в коридор, выхватывает у меня из рук трубку, подносит к уху, слушает: «Че-

го? Ды ты... Я тебе глаз на жопу натяну! – орет он, как орал когда-то Валерке Варнавину. – Кто я? Отец!!!» Мама – ее руки в фарше, она лепит котлеты – пулей вылетает с кухни. «Кто это? Кто звонит?» – ее очки вот-вот лопнут. «Да пошли вы! – папа швыряет трубку, сжимает кулак, заносит над моей головой. – Идиотина! Изничтожу!» Я не шелохнусь, тупо глядя перед собой. Папа успокаивается, чавкает котлетами, пялится в телек. «Бабушка, – шепчу я, отводя бабушку в сторону, – если будет звонить... Если Алеша будет звонить... пожалуйста, скажи ему, что я его жду, что я его...» «Анчутка ты», – ласково говорит она, гладит меня по головке, кивает: скажу, мол.

Но Алеша не звонит. Ни завтра, ни послезавтра. Звонят какие-то Николаи Иванычи, Марьи Васильны, какие-то пацаны («неслушники безобразят», – сообщает мне бабушка), звонят из города Камня узнать, не продаем ли мы сало, звонят Татьяне, но не Чудиновой, а «кой-то Мудиновой, что ль, не расслышала»...

Скоро мой день рождения, а я не хочу... родиться... «Ираида Николаевна, – я завидела Джесси: он тянет за собой Ираиду Николаевну – и несусь сломя голову, – Ираида Николаевна!» Мне стыдно: я не забыла нашей последней встречи и мокрые колготки, которыми размахивала перед моим носом мама... «Ираида Николаевна!» «Гав-гав!» – отвечает Джесси, тщательно обнюхивает мое новенькое пальтишко (пальтишко такое зеленое, в клеточку, и воротник-стоечка

– девчонки умрут от зависти!) и кладет лапы мне на плечо: не дрейфь, мол, я с тобой... «Джесси, фу, фу, нехороший мальчик!» – Ираида Николаевна грозит Джесси пальчиком, обчищает пальто белоснежным носовым платком. «Прости, Танюша, это Джесси тоскует: Оля замуж вышла и уехала от нас...» Ираида Николаевна плачет, утирает глаза краешком лайковой перчатки. «А куда уехала?» – «Туда...» Ираида Николаевна машет рукой в неопределенном направлении, но я догадываюсь, о чем это она (в каком-то советском фильме, помню, на вопрос: «Вы откуда?» – персонаж отвечал: «Оттуда», – и двусмысленно улыбался, давая понять, что он из-за бугра). «В Париж?..» – я выпучиваю глаза, как когда-то Степанида Мишка... бедная, что с нею теперь... Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а... «Нет, – машет головой Ираида Николаевна, – да и какая разница...» «А она... я потеряла одного человека... вдруг он там? Оля ваша может найти... его?» «Ну что ты, девочка, – печально отвечает Ираида Николаевна, – боюсь, я сама ее потеряла...» Ираида плачет, я рассказываю ей об Алеше, она обнимает меня, целует в завитки волос... «Ты приходи ко мне в гости, ладно? Почаще приходи. А то я скоро останусь совсем одна...» – «А Женя?» – «А Женя... Женя поступает летом в институт, едет в Москву». – «А если не поступит?» – «Поступит...» Из-за угла выныривает – именно выныривает – дядь Саша: с него течет в три ручья, остатки волос прилипли к плечи, словно клеем их приклеили, форменная рубаха

вся в пятнах, и потому дядь Саша похож на жирафа, он и голову как-то по-жирафьи вытягивает вверх. «А, гуляете? – ни здрастье, ни до свиданья – гнусавит дядь Саша, завидев нас с Ираидой Николаевной. – А дочка ваша уже, так сказать, отъехала?» Ираида Николаевна опускает глаза (я вижу, как Ираида бледнеет и сжимает зубы):

«Спасибо, жива-здорова», – цедит и идет в другую сторону. «Ну-ну, – гнусавит дядь Саша, – а тебе, Чудинова Таня, следовало бы поискать другую компанию». Дядь Саша заходит в подъезд, на прощание окидывая нас с Ираидой Николаевной взглядом победителя. Джесси срывается с поводка, прыгает дядь Саше не грудь – тот поднимает руки вверх, словно немец, попавший в плен к русским, на лице его написан страх, липкий, как три волосины, прикрывающие плешь (мама сказала бы, что дядь Саша «с выраженьем на лице, чем сидел он на крыльце»).

«А за с-суку свою ответите, – бросает дядь Саша на прощание, – перед законом!» «Я не выдержу, – шепчет Ираида Николаевна, – он не оставит меня в покое!» «Гав-гав, – решительно отвечает Джесси, – гав-гав-гав!» «Один ты у меня и остался, мой хороший!»

Скоро мой день рождения... «Я не собираюсь тут всех кормить, – ворчит мама, – сядем семьей, нечего Маланину свадьбу устраивать». «Сядем семьей, – монотонно повторяю я. – Куда сядем?» Мама... округляет очки: «Ты у кого это набралась, а? Кто это тебя подучивает? Засранка такая! – она

растерянно озирается и вдруг начинает истошно голосить: – Жора, Жора!» «Надоели как собаки, – цедит сквозь зубы папа, ворочаясь на софе, – только и знают тявкать». Мама плачет, вытирает стекла очков полой халата. «Отец, называется! Ты слышал, что она сказала, слышал?» Папа, накрывшись пледом с головой, посвистывает во сне: талант! – он спит, где бы и когда бы ни «прикорнул», как он сам любит говорить. «Сядем, – лопочет мама распухшими губами, – это ж надо, а? – и сама себе: – Это ее эта, Ираида, подучивает! У нее дочь сбежала с этим... фрицем... – мама зыркает на меня, замолкает: боится, видно, что расскажу папе о «фрице», с которым она «крутила» в Трускавце, а мне так хочется рассказать, аж язык жжет – вот бы папа, «прощельга чертов», обрадовался! – ...с этим фашистом... – поправляется мама. – И чтобы не смела к ней больше подходить, ты меня поняла?» – грозит она мне пальцем. «Не поняла! – кричу (я даже не спрашиваю про «фашиста», с которым «сбежала» Оля, хоть мне и жутко интересно, кто он – немец, наверное). – Буду подходить, буду!» «Нет, ну ты посмотри, а? Ну я не знаю, что с ней делать! – причитает мама. – Ну какая же я дура-то была! Надо было сразу, как родилась, на одну ногу ей наступить, а за другую потянуть! Ну какая же я была дура, а!» (когда мама говорит «на одну ногу наступить, а за другую потянуть», я воображаю себя розовым резиновым пупсом, которого разрывают пополам, воображаю и смеюсь).

«Ети вашу мать, и базлают, и базлают!» – папа, слов-



но медведь, которого разбудили во время зимней спячки, шатается по комнате в одних трусах (трусы у папы семейные, сатиновые, в горошек), тряся головой. «Только и знает ет́кать, – гундосит мама. – Никому я не нужна... никому...» Мама плачет, папа чертыхается, я тихонько выскальзываю из «залы». «Чего они там глотку дерут?» – зевает бабушка и шаркает по коридору на кухню. Я пожимаю плечами, заплаканная мама, услышав зевающее шарканье, едва не наскакивает на бабушку: «Какая же я дура была-а-а!» – «Вот анчутка-то где! Зайкой оставит, – сплевывает бабушка. – Была она... да ты и посе́йчас дура! – достает из холодильника банку с квасом (квас бабушка ставит сама: на черном хлебушке – у-у, вкуснятина!), наливает себе, мне. – И этот муды свои славит – постыдился бы, у тебе вон дочери невесты!» – бабушка тычет пальцем в папу, тот лыбится: «А здравствуй, милая моя! А ты откедова пришла?» – «Невесты! – горланит мама. – Эта-то, маленькая, невеста, как же! На улицу совестно показаться: до того заневестилась! А эта виса, – мама мотает головой в сторону детской, где заперлась Галинка («носу не кажет»), конфеты, наверное, жрет, – навязалась на мою голову: хоть бы какой кыргыз ее увез!» – «Да пес с ей, – машет рукой бабушка, – пушай сидит, стоило глотку драть». – «Сидит... – спохватывается мама. – Ты слышала, что эта... изверг сказала? Сядем, говорит, семьей!» – «Куды сядем?» – спрашивает бабушка. – «Туды!» – мама пялит в пол глаза. – «В преисподь, что ль? – опять бабушка. – Так все туды сой-

дем. У каждого свой срок». – «И эта туда же...» – мама закрывает рот ладошкой, каким-то затравленным глазом зыркает на папу. Тот заглох и побелел: видно, до него наконец дошел смысл маминого базлания. «А ну, иди сюда! – папа пытается поймать меня за ухо. – Иди, я кому сказал! Псявая козявка!» Я лихо уворачиваюсь от папиной длани, прячусь за спину бабушки. «Жорка, а ну цыц! Не тронь девчонку!» – встает сухонькой грудью бабушка. «Да ты-то помалкивай», – отталкивает он бабушку. Та не сдается: спина прямая, в глазах огонь – ну прямо пионер-герой! «Не пужай – пужаные! Да и старá я уже пужаться-то! Времена ноне другие! Неча тут кулаками шевелить!» – бабушка хватает со стола газету «Правда» и защищает ею, словно щитом. Папа уже было сокрушил бабушку, но вдруг застывает, словно вкопанный, перед портретом генсека Брежнева – тот красуется на первой странице газеты (так в сказке застывает герой, которого околдовала нечистая сила).

«Других времен нет», – почти беззвучно шепчет папа. «Всех не пересодите», – выкрикивает смелая бабушка, тряся Брежневым (в программе «Время» – я видела – частенько показывают «прогрессивных деятелей», которые выходят на митинги против акул капитализма, выкрикивают лозунги и держат в руках всякие плакаты).

«Надо будет, – лыбится папа: он, кажется, оживает, – пересодим... тьфу ты, етит твою мать! Пересадим!»

Накануне дня рождения мама сует мне в руки кулек с

конфетами (знакомые фантики: «Маска» и «Театральные» – просто цирк какой-то): это чтобы я в классе раздала – по одной конфетке шоколадной и одной сосательной – все так делают. Сует, а сама себе под нос бурчит что-то нечленораздельное: «деньги псу под хвост выбрасываю», «дорогие конфеты им скармливаю», «эта, небось, Буянова, – «Ну да, Таня?» (мама пищит на манер Аленки, коверкая язык), – гнида хитрожолая, опять батончики копеечные принесет», «недоедаю-недопиваю, всё ей, всё ей, а она, неблагодарная!». «И чтобы завтра вечером дома была, ты меня поняла? – уже в голос верещит мама. – Семей сяд... отпразднуем», – бедная мама, она испуганно выпучивает глаза, боится, не сморожу ли я чего. А мне все равно: пусть празднуют – я домой решила не приходить!

На следующий день, я, девятилетняя (утром бабушка будит меня, ласково приговаривая: «Большущая совсем, девять годков стукнуло, а в голове-то пустёхонько!»), раздав конфеты, получив в подарок несколько карандашей, блокнотиков, открыток, календариков, письмо от Ромки Бальцера («Таня поздравляю с днёмрождением. Жилаю щастья в личной жизни. Расти большой, ни быть лапшой. Пойдем вкино?» – и ниже нарисовано сердце, проткнутое стрелой), возмущенный писк Аленки (я не пригласила Аленку на день рождения и сказала, что вообще на фиг всё, не буду ничего отмечать):

«Совсем уже?» – пигалица еще и у виска подкрутила,

только косички подпрыгнули: мол, совсем ты, Таня, ку-ку, – в общем, я, девятилетняя, исчезаю после уроков в неизвестном направлении и совершенно одна. Гофман с Обидиным: они курят (знаю, что Валерка Варнавин «толкает» им импортные сигареты «Мальборо», который его отец привозит «оттуда», по тридцать копеек за одну сигаретку – барыга несчастный), вот придурки, прямо на крыльце школы, – заведя меня, кричат дурными голосами: «Чудинова! А Чудинова? Таня! – до моих ушей доносятся стыдливые смешки: тоже мне воздыхатели! – Ну Таня! – я ноль внимания: иду себе, такая, как ни в чем не бывало (Аленка, небось, от зависти помирает, глядя мне в спину). – Ну Чудинова! Чё, уши заложило? Давай твоё деньрождение по-взрослому отметим, а? – на мгновение они замолкают, ждут, оглянусь я или нет, – и не подумаю: взрослые выискались, говорить сначала научитесь! – смех один! – Ну блин! – орут бедолаги. – Ну чё ты? Ну давай?..» – Мой папа, когда я была маленькая и просила его: дай то, давай это! – лыбился: «Давай уехал за границу!» – вот и я так же лыблюсь («лыбиться»... какое дурацкое слово!) и хочу крикнуть им в ответ: «Давай уехал за границу!» – но слышу, как кто-то визжит... а, Табуретка: «Эт-т-то что такое? А ну вытащите эту гадость изо рта! Бесстыжие! Учишь их, учишь! Здесь же первоклашки ходят! Какой пример вы подаете детям?» Ну и голосина... Табуретка трубит еще что-то, но я скрываюсь за поворотом.

В кармане два рубля с копейками – целое состояние:

вскрыла свою копилочку – коробку из-под «Птичьего молока» (а ведь еще три месяца назад я хотела распотрошить это «Птичье молоко» начисто, купить билеты и укатить с Алешей куда подальше... Алеша... где ты?.. нет, сегодня я не буду думать о тебе, на душе моей – «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!»).

Из окна кафешки, где я лопаю мороженое, виднеется оперный театр, правда, его заслоняет гигантский Ильич в развевающемся бронзовом плаще, ноги будто у слона (помню, бабушка, когда увидела массивную фигуру вождя, всплеснула руками: «А ножищи-то! Жировал, небось, когда весь народ голодал!»).

Здесь, у слононогого памятника, обычно принимают в пионеры, лучших из лучших принимают, в день рождения самого Ленина: «Ленин родился в апреле, когда расцветает земля, когда позабыты метели, и в рощах цветут тополя...» – всплывает в моем мозгу. Я тоже апрельская, как Ленин: почему-то его все называют «дедушка Ленин» (я знаю еще одного «дедушку», Крылова – странно)...

А интересно, вот когда ему было лет девять, он каким был, дедушка Ленин? Вот мороженое он ел? В девчонок влюблялся? Хулиганил? «Когда был Ленин маленький, / С кудрявой головой, / Он тоже бегал в валенках / По горке ледяной». Я пью молочный коктейль за свое здоровье. А Ильич, интересно, выпивал? Ругался? Я вдруг испуганно оборачиваюсь: а вдруг за мной следит кто, а? И читает мои мысли?.. Папино

ухмыляющееся лицо покачивается в воздухе: «А здравствуй, милая моя! А не уйдешь от кэгэбы...» За соседним столиком сидят два невзрачных паренька и как-то странно поглядывают на меня... Ну точно, они... Папа как-то «раскололся»: наши люди, говорит, везде, неприметные такие люди, серенькие. Я спрашиваю: какие, мол, такие люди? А папа только лыбится: так я тебе и сказал... Я смело гляжу в глаза этим «нашим людям»: пусть знают, что я их не боюсь! – и заказываю еще одну порцию коктейля. И тут один из них подходит: «Девушка, – каким-то кошачьим голосом тянет он, – может, к нашему столику?» «Не на ту попал, – думаю я. – Знаю я ваши методы». Думаю, а сама слизываю с губ молочные усики. «Ну правда, – гнусавит этот противный «наш человек» (у «нашего» тоже усики, только не молочные – «коренные», щеточкой, и когда он говорит, они подпрыгивают вверх-вниз), ну чего вам одной сидеть? Такая симпатичная девушка!» Я что-то мямлю – «наш» с усиками-щеточкой настукает, второй – у него круглое плоское лицо – подсаживается ко мне и кладет мне свою волосатую руку на плечо: бр-р-р-р! Спасибо, какая-то тетка неопределенного возраста в мохеровом берете (мохерова тетка привела в кафе не то сынка, не то внучка – рыжий неповоротливый пацан: он трескает за обе щеки пирожные – («Кушай, мой хороший, совсем с лица спал») – и не обращает на мохеровую никакого внимания) выставила свой необъятный бюст (по лицу тетки течет в три ручья, однако берет свой она не снимает)

и горланит: «Постыдились бы, бесстыжие! Привела ребенка в детское кафе, а они и тут руки свои распускают (кругло-плоский убирает ладошку с моего плеча – слава Богу!), это что же это такое, а? Не работают, не учатся – болтаются целыми днями, родительские денежки прожирают! Я в вашем возрасте уже работала, между прочим, во всю Ивановскую и в техникум готовилась поступать. Мне болтаться было некогда! И в обновах не фигурировала – кофточка материна да юбка бабкина, перешитая. А она, ишь, вырядилась! Вот ты, – тычет она в меня толстым пальцем, – не стыдно тебе? Мать, поди, на заводе вкалывает, чтобы ей сапоги покупать – у меня сроду не было таких сапог, импортные, небось, – а она, ишь ты, расселась тут с этими... – тетка сплевывает. – Сказала бы я пару ласковых, да ребенок услышит (ребенок ни бе ни ме: знай пирожные уписывает)».

«Ну это вы зря, тетенька», – гнусавит усики-щеточкой. – «Да какая я тебе тетенька?..» Сейчас начнется! Я, под шумок, подскакиваю с места – и в дверь: только вы меня и видели! Тот, который «усики», разевает рот: щеточка топорщится, щекочет нос – и «усики» смешно морщится. А вот кругло-плоский даже кричит мне что-то вслед: «Ты куда?..» – кажется. Но я уже далеко.

Пробегая мимо слононогого Ленина, я на мгновение замираю: да уж, такой раздавит – и ухом не поведет... Перед глазами Медный всадник, из книжки Пушкина (когда я была маленькая, мне книжку эту – старенькую, истрепанную

– тетя Дуся подарила, та, которая сходила в обком – и к ее мужу дядь Митяю, «алкашу проклятому», были «приняты меры»: мол, вырастет, мигнула тетя Дуся подбитым глазком (дядь Митяй, как пить-то перестал, уж больно побивал бедняжку), вырастет – прочтет (мама тогда только буркнула себе под нос: «Нет, чтобы что-то доброе девчонке подарить – она тащит в дом всякое барахло: самим не нужно – она людям тащит»)).

Я, помню, глянула на картинки (и фамилия у художника мудреная, на парижский лад – Бенуа!) – да рот и открыла: какой-то человечек, распластавшись буквой «Т» (это ж мое имя, Таня!), бежит, не чуя под собой ног, а на него наползает гигантский всадник: вот-вот – и заглочит беглеца, а там... И я, не дожидаясь, покуда вырасту, глотала пушкинские строки («Матери бы помогла, халда, умные все нынче стали!»):

«О мощный властелин судьбы! / Не так ли ты над самой бездной / На высоте, уздой железной / Россию поднял на дыбы?» – и представляла себе, как кто-то хватает меня за кудряшки – жуть как больно! – и тянет мою голову куда-то ввысь (так тянул меня дядька с волосатыми ногами, когда мы с Галинкой тонули в Бердском заливе: он пытался меня спасти, а мне казалось, что топит).

Разиня рот я гляжу на слоноподобную каменную глыбу – и мне мерещится папа в серой шинели, в погонах со звездочками, папа лыбится, показывает мне лыч, лицо его застывает маской: «Других времен нет...» «Париж-Париж, Париж-Па-



риж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – оживаю я и горланю прямо в лицо глыбе. «Чего орешь? – раздается глухой голос за моей спиной. Я вздрагиваю. – Забыла, где находишься? Ничего святого!» – и какой-то сухой сгорбленный старик, выстукивая замысловатый ритм (та-та́, та-та́-та, та́, та-та-та́, та́-та) клюкой, бросает на меня взгляд, полный презрения, и «простукивает» мимо. Ну и стучи себе... стукач чертов, истукан... интересно, а это однокоренные слова – «стукач» и «истукан»?.. Я смеюсь и бегу по улице Ленина, в кармане моем призывно бренчит мелочь (дзинь-дон-дон).

Вечереет. С афиши – а они развешены у кинотеатра «Победа» – глядит на меня какой-то странный человек. Я притормаживаю. Очень странный человек: голова бритая и будто светится, лицо виноватое, глаза... такая тоска в них разлита, такая тоска! И вот этот человек с афиши словно шепчет мне: постой, пожалуйста, куда ты, пойдём со мной! Я звякаю мелочью, запуская руку в карман, и нерешительно иду покупать билет. «Мне один на “Сталкер”, пожалуйста (что такое «сталкер»? – это тот, который сталкивает, а куда сталкивает, в пропасть, что ли?..)».

Тетка-кассирша недоверчиво поглядывает на меня, однако выдает серый билет. И тетка-билетерша смотрит на меня с прищуром, видно, кумекает, сколько мне лет – пущать или не пущать. Пущает, но предупреждает: «Слышь, он же мутный – не высидишь». «Кто мутный?» – спрашиваю я. «Кто? Фильм. И режиссер. Гнать таких надо, а их по телевизору

показывают». Под этот незатейливый аккомпанемент я захожу в пыльный зал, занимаю свое место, окидываю взглядом соседние ряды: не густо народу-то. После нудного журнала о том, какой богатый урожай сняли в этом году хлеборобы Черноземья (черно-белый урожай валится на меня прямо с экрана), в зал бочком заходят опоздавшие – два немытых бородатых косматых черных дядьки с холщовыми сумками, краснеющий мальчик-студент с прыщавым лицом и парочка (девушка лет на двадцать моложе мужчины, за ручки держатся, такие ходят в кино целоваться).

Опоздавшие громко хлопают сиденьями (словно аплодируют), гаснет свет – и из темноты проявляется комнатка, вот как на фотографии (я, маленькая, говорила не «фотографии», а «водогра́и» – и выходило, что «водогра́я», она как-то с водой связана), гаснет свет – и из темноты проявляется комнатка, вот как на фотографии проявляется изображение. И комнатка эта (она напоминает забегаловку где-нибудь на вокзале: там люди стоят за столиками и наскоро что-то заглатывают перед дальней дорогой) – и комнатка эта, да и вообще все пространство экрана, кадр, – это словно бы снимок, который только-только вынули из проявителя и окунули в воду. В комнатку-забегаловку входит человек, а мне кажется, что это какой-то очередной опоздавший черный дядька с холщовой сумкой входит в зал – прямо из-за моего плеча входит, – что это я сама сижу в той самой комнатке... даже будто этот черный дядька входит в... меня! Что-то зна-

комое, неуловимое, что-то... ля-а-а, соль-фа-ми-фа-ми-фа-ми... «Зеркало»! И мы с Алешей сидим на берегу Бердского залива... И этот блаженный, что смотрит на меня с экрана, он предлагает мне поверить в чудо и войти в мир, который там – и будто во мне! А я и там – и будто на пороге Комнаты-экрана! Сокровенное... А можно ли его постичь? Ведь за Комнатой другая Комната, за другой – третья, пятая... а потом опять в первую Комнату, но она уже иная...

Вот я, я же считаю себя умнее, взрослее, мудрее – родителей своих, учителей этих вечных, а на все условности «взрослого мира»... да плевала я с высокой колокольни... А вдруг я всего лишь тупая, мелочная девица, жаждущая денег, власти и мести? Я живу любовью к Алеше... А что, если люблю-то я Алешу потому, что его терпеть не могут мои родители, что любовь эта стоит у них поперек глотки, – и именно это, это приносит мне высшее наслаждение? Я мню себя творчески одаренной личностью и мечтаю создать что-нибудь великое... А может, я просто мараю бумагу, чтобы не быть такой, как все, которых я «выше»?.. Я захлебывалась от страстей, жгущих мою грудь...

Прихожу домой затемно. Стол накрыт. В вазах киснут салаты, на тарелках скорчилась от тоски колбаска. «Где ты была? – тихо спрашивает мама. – Весь вечер старалась для этой неблагодарной, а она...» Мама – в новом розовом халате: принарядилась, ишь! – выходит из комнаты. Я слышу, как она всхлипывает, бормочет себе под нос «никому я не нуж-

на, сволочи проклятые», как включает воду на кухне и громыкает посудой. «Явилась, антихрист такая, – шаркает своими старенькими чунями бабушка. – Матьер ей тут понаготовила, что на Маланину свадьбу, а она завихрилась». «Алеша звонил?» – прерываю я бабушку. «Да прилегла я, – винится она, – не слыхала: мож, и звонил, – пес его знает». «Ага, жди, – громыкает с кухни мама, – позвонит он! – она вбегает в комнату, взмокшая, в руках какой-то ковшик, того и гляди, пришибет. – Уволилась Марья эта, – трясет мама ковшиком, – мать этого... твоего. Нет их больше, нет: были да сплыли». Я сижу, уставившись в одну точку. А тут папин выход: он смеется, распевает во всю Ивановскую: «А здравствуй, милая моя... А ты откедова пришла? А я не знаю, как мне быть, а как мне денег раздобыть... – папино лицо тупеет, застывает маской: он мучительно пытается найти слово. – А как мне... Нет... А где мне... Как в Израиль мне укатить?» – папа торжествующе хохочет: какой он молодец, как ловко словцо вернул! Бабушка глядит на меня виноватым глазом: «Пойдем, дочка, пойдем».

Она уводит меня в спальню, укладывает в постель и поет что-то монотонное: «А-а-а! А-а-а!» Под этот вой – у меня такое чувство, что это похоронный плач: вот когда кто-то умрет, бабы так воют – я сама видела – плакальщицы, на одной ноте, к гробу склонятся и воют: «Да на кого ж ты меня остави-и-ил, да милый ты мо-о-ой!» – вот под этот вой я и пытаюсь заснуть. Уеха-а-ал... И правильно сделал, хочу

крикнуть я! Какой ты молодец! Ты вырвался... Только бы тебе было хорошо там, только бы тебе было хорошо... А уж я, будь покоен, я тоже вырвусь, вырвусь от этих... да Бог с ними, не ведают, что творят... Я молча слушаю бабушкино бесконечное «А-а-а-а-а». «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» Вырвусь! Вот увидите! Но ни одна душа не узнает, что я удумала, как говорит бабушка (бабушка, только ты и осталась у меня, заступница!), ни одна – да и есть ли у них душа-то! Я буду притворяться хорошей девочкой: ох какой хорошей, какой послушной, какой тихой девочкой я буду притворяться! Подло? Да, подло, подло, я знаю! Но разве нынче не время подленьких, «изоблюдов», как выражается мой папа, а он-то знает почему фунт лиха, он-то в этом деле «изоблюдства» поднаторел, будь здоров! Подленькие «лижут жопы этим старым прощелыгам Рыжовым и Хохриным», «только и знают пить с москвичами» – ради заветной звездочки на погонах, ради пайка, который не положен простым смертным, ради кэжэбэшного санатория с красной ковровой дорожкой, ради... я проваливаюсь в колодец сна...

«Совсем ты забыла меня, Гуля», – мычит утром сонная Галинка, а сама бочком, бочком – и ко мне: трется махровым халатом, опускает глаза. Я утопаю в махрово-подушечном теле: тепло-то как, мякенько-о-о! Галинка! – Совсем забросила своего Маленького-Пухленького. Помнишь, как ты кричала: Маленький приехал, Пухленький приехал!?» Те-

перь уже я опускаю глаза: забыла я Галинку – одна любовь на уме... «Двадцать пятый год висе, – кричит с порога мама, надевая сапоги и пальто, – ей уж внуков пора нянчить, а она все в Маленького-Пухленького играет. И наказал же Господь: одна шалавая растет, другая... кыргыз бы какой, что ли, увез ее, халду. Навязались на мою голову!» – мама «гавкает» входной дверью.

Вечером мы с Галинкой закрываемся в детской, играем в «Виселицу», в карты (Галинка любит играть в «Пьяницу»), разгадываем кроссворды, едим батончики «Звездочка» и щербет – совсем как в старые добрые времена. Старые добрые времена... Других времен нет... «Коровы проклятые, – рычит мама из-за двери, – только и знают заглатывать. Не успеваю сумки таскать, сама недоедаю-недопиваю. – (Знакомая песня.) – Нажрутся отборных продуктов – энергию девать некуда. Матери бы помогли». Мы смеемся. Галинка меня не спрашивает об Алеше, а я и не говорю ни слова – что толку: в свои девять лет я чувствую себя вдовой... Вчера я потеряла его навсегда – сегодня мне кажется, что с тех пор прошло очень много лет, и я уже не помню его лица, голоса, вкуса его губ... Вырваться мечтаю, а вырвусь ли... «...завтра придет, слышь, что ль? – меж тем надрывно кричит мама, вламывается в нашу комнату, Галинка заливается краской. – И смотри мне! – мама показывает большущий кулак. – От людей совестно. Эта, маленькая, и то...» – мама замолкает, кидает на меня заячий взгляд, тут же прячет его за стек-

лышками очков, выходит. Я вглядываюсь в Галинкино пунцовенное лицо: а кто придет-то? Но Галинка молчит, губу закусила.

На следующий день возвращаюсь из школы – а он уже сидит за столом, как Пан Пердович («Пан Пердович» – это бабушка так говорит) – здрасьте, пожалуйста: лоб низкий, брови лохматые, голова гладкая как колено и губищи-лапти. Мама тут же крутится, подкладывает ему в тарелку пельменей, сдабривает пельмени маслицем. «Меньшáя? – с прищуром смотрит на меня бровастый, нанизывая на вилку пельмень. – У-у-у!» – тянет он, поглаживая тыквобразный живот, причавкивая и облизывая свои лапти язычином. «Меньшая, – выдыхает мама. – Не знаю, что и делать с ней, ни во что мать не ставит». «Поставим, – доверительно подмигивает мне бровастый, наливает стопочку водки, выпивает, заедает пельменем. Все это он проделывает медленно, со вкусом. – А где старшáя-то?» «Да где ей быть? Одевается, небось», – оправдывается мама, а сама делает мне знаки: мол, иди, Галинку позови, перед людьми совестно! «Шо-то долго она одевается, – деланно недоумевают бровастый. – За это время и раздеться можно!» Он заглатывает пельмень за пельменем, хохочет, утирает рот ладошкой. Я делаю вид, что не понимаю намеков мамы и подсчитываю пельмени, которые исчезают в глотке бровастого: десять, пятнадцать, двадцать пять... ну и прорва... «Доченька, – противно-ласковым голосом поет мама (доченькой мама называет меня только на

людях), поджимая губы, – сходи позови сестру!» Я нехотя поднимаюсь: двадцать восемь, тридцать... В коридоре сталкиваюсь с бабушкой: она выходит из туалета: «Тьфу, пропастина чертов! Чтоб ты провалился! Говны за им отскребала!» «А он кто?» – спрашиваю я. «Хто? Жаних! Вот хто!» – «Чей? Галинкин, что ли?» – «Он самый! Пес шелудивый! В три горла жрет и не поперхнется! – сплевывает бабушка. – Родной дочери этакого-то сватает, а еще мать называется!» Бедная Галинка! Стучусь в детскую – молчит, слышу только, как шуршит фантиками от конфет. «Сейчас придет», – возвращаюсь я на кухню, сажусь за стол, придвигаю к себе тарелку с пельменями. «Обождем, – чавкает бровастый. – А хозяин что же?» «Хозяин-то? – мама глядит на меня, как бы я чего не сболтнула: папа сегодня «поит москвича» («Прощельга чертов, у дочери судьба решается, а он только и знает москвича своего поить – когда тот уже нажрется!»). – А хозяин на службе задерживается, сами понимаете». «Обождем, – опрокидывает стопку водки бровастый. – Хор-рош-ш-а-а... – утирает свои лапти, потягивается. – Ну, раз никто не идет, давай, меньшáя, стишок какой, что ль, прочти». «А вы кого больше любите, Пушкина или Лермонтова?» – «Э-э... Пушкина...» – «Ну слушайте», – я встаю из-за стола, подхожу к окну:

...Я не хочу

Того, что кажется.

Ни плащ мой темный,



Ни эти мрачные одежды, мать,  
Ни бурный стон стесненного дыханья,  
Нет, ни очей поток многообильный,  
Ни горем удрученные черты  
И все обличья, виды, знаки скорби  
Не выразят меня; в них только то,  
Что кажется и может быть игрою;  
То, что во мне, правдивей, чем игра;  
А это все – наряд и мишура.

Бровастый чешет плешь, икает. «Все-таки Лермонтов мне больше нравится... А это в каком классе проходят?» – «Во втором». – «У-у, ишь ты...» И тут вваливается папа: шапка набекрень, шинель забрызгана, белое кашне заляпано чем-то красным, на сапогах рыжая клякса. Увидев накрытый стол во главе с водкой, папа встает по стойке смирно: «А здравствуй, милая моя!» – затягивает он. «А вот и хозяин», – противно-ласковым голоском поет мама. «А ты откедова пришла?..» – папа падает на стул, скидывает на пол шинель, шапку, кашне, сверкает погоном. «Здравия желаю, товарищ майор, так ска-ать», – бровастый прикладывает руку к пустой голове. «Вольно, – выдыхает папа. – Кто такой?» «Кобылин, Захар Иванович, с города с Камня. Мастером на молзаводе работаю. Вот, за вашей дочерью приехал». «На молзаводе – это хорошо. Я тоже на заводе работаю», – папа икает (так положено, легенда такая: «Если спросят, где папка работает, скажи, на заводе»).

Кобылин косится на папину звездочку, понимающе кивает: ясное дело, мол, конспирация. «По утрам я люблю попить молочко, – заводит папа. – Из стакана или из кружки. Но жаль, что не каждое утро оно попадает мне в горло мое». «Хорошие стихи, жизненные, – изрекает Захар Иваныч, – а написал-то кто?» «Мои, – гордо отвечает папа, – я написал». «Да ну? – удивляется Захар. – Вот это да... Не то что твой Пушкин», – смеется он и тычет в меня пальцем.

Захар приходит ещё пару раз, приносит молоко, кефир, пьёт, нахваливает. Галинка так и не появляется: как сидела в детской комнате, так и сидит, фантиками шуршит. «Виса проклятая, – причитает мама, – людям на глаза показаться не могу, совестно! Навязалась на мою голову! Вот ведь наказание Господне! И какого тебе рожна надо? Кто тебя возьмёт, корову?..»

За окном весна...

«Чудинова, а чё ты гулять не выходишь? – пристаёт ко мне Ромка Бальцер: бедняга, он похож на рака, который вот-вот на горе свистнет, до того красный. – Выходи, а?» «Не выйду, бэ», – ерничаю я. Аленка на меня обижается. «Ну да, Таня, – пищит она и по-лисьи щурит свои глазенки, – хитрая ты, скрываешь от меня всё, вообще-э-э-э! Ну расскажи-и-и-и, ну чё ты такая! Я никому-никому не скаж-ж-ж-у-у-у». Я пожимаю плечами: да не скрываю я ничего. «Скрываешь, скрываешь. Твой, этот, поди, приехал, и вы тайком поженились!» Аленка стыдливо хихикает – косички подле-

тают к потолку. Боже мой, хочу крикнуть я, какая же ты маленькая, какая глупенькая, Аленка, а еще отличница! Но я молчу. Аленка закусил губу и все время шепчется с Сусекиной. «То шлындала, – слышу, жалуется мама тетке Василисе по телефону, – а теперь засела: сидят с этой, висой, конфеты жрут, коровы проклятые. Ой не к добру это, ой не к добру». Тетка что-то отвечает маме – та протягивает мне трубку. «И как тебе не стыдно, – дребезжит теткин голосом трубка, – мать цельными днями...»

Малышкой я любила ходить в гости к тетке Василисе (тетку Василису, пышнотелую, с носом-плюшечкой и вечной ухмылкой на лице, все величали Васюлич, Василисой никто не звал) и дядь Федору. Дядь Федор был не только «мастак водку жрать и фокусы казать», как говорила моя бабушка, – он играл на балалайке. Но это было давно, еще до моего рождения. Теперь старенькая трехструнка валялась в махонькой кладовке, занавешенной пыльной габардиновой шторой неясно-желтого цвета. Помню, едва переступлю порог однокомнатной хрущевки, – сразу в кладовку. И сижу там, покуда за шиворот не вытащат, «играю». «И звякает, и звякает... апчхи, – чихала мама, раздвигая пыльную шторину, – никакого покоя». Но я самозабвенно перебирала металлические струны, распевая «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» Проголодавшись, я покидала свое убежище и любовалась огромными пластмассовыми пупсами, которые чинно восседали на шкафу, голые и бесстыжие.

«Васюлич! Ну и богачи вы!» – восторженно восклицала я, облизываясь на пупсов. Те, задрав носы, сидели на самой верхотуре, не доберешься.

А еще у «богачей» в доме жили... немцы! Самые настоящие, я таких в кино видела. «Васюлич, – липла я к тетке, – а откуда они взялись?» «Отстань, – отмахивалась та, – пристала ровно банный лист к причинному месту». «А они враги? – не унималась я. Васюлич ехидно ухмылялась, задрав свою плюшечку. – Ну скажи!» Но Васюлич была непреклонной: мала еще, мол, подрастешь – узнаешь. Но я не хотела ждать – и вот раз послали меня за хлебом, выхожу из подъезда, гляжу, Зина (Васюлич ее так называла: это была старая, маленькая, высохшая, сгорбленная женщина, она работала в магазине грузчиком, у нее был сын Мишка, вечно пьяный («Опять залил шары, паразит», – комментировала Васюлич, стоя на балконе), она курила самокрутку, сминая ее желтыми узловатыми пальцами, и по-настоящему Зину звали Сентой), в общем, несу я хлеб в авоське (Васюлич мне эту авоську дала: красная такая, кричащая, с дыркой на пузе, если положить в нее хлеб или арбуз, например), гляжу, Зина идет. Маленькая, сгорбленная. Остановилась. «Тебе чего?» – спрашивает. А мне страшно стало. Глаза у нее... я раньше ее глаз так близко не видела... умные, стального цвета – и впиваются в меня иглой... будто она знает обо мне что-то такое и вот-вот выведет на чистую воду (я такие глаза, «начистоводные», только у Эдит видела, у Алешиной бабушки). Я рот

раззявила – за мусорку шась и спряталась. «Фашисты чертовы», – слышу мамин голос: они с Васюличем на балконе стоят, меня высматривают. А Зина-Сента села на лавку, самокруточку скрутила (медленно так крутила, на пальцы поплеывала – я глаз не могла оторвать) и сидит покуривает, дела ей нет до всяких там руссиш швайнов (я слышала, в кино так немцы русских называют: руссиш швайн).

«И чтобы не подходила к ним (кроме Зины, я никого не знала, только Иру (а на немецкий лад – Ирму), которая жила аккурат под Васюличем, «как мышка: не видать ее не слышать»), и чтобы не подходила к ним, поняла?» – рыкнула мама, когда я, взъерошенная, словно воробышек, протянула ей красную авоську. «Да брось ты, Нюр, уж сколь лет бок о бок живем, – робко возразила Васюлич, – какие ж они фашисты...»

После смерти дядь Федора я частенько навещала Васюлича: приеду, вся в обновках, которые простым смертным в жизни не видать, выйду на балкон и наблюдаю за Зиной-Сентой, Ирой-Ирмой, Мишкой («Пьяные твои глаза»), его женой Ирккой («Ишь, выдерга, жопку свою с луквичку – обтянула») и сыном Славкой с высоты четвертого этажа. Но стоило Зине поднять вдруг умные стальные глаза и усмехнуться: ой, гляди, девка, выведу я тебя на чистую воду! – я вздрагивала, словно меня током ударило.

«...я в твоём возрасте матери помогала, – дребезжала меж тем трубка голосом Васюлича, – работать пошла, пятнадцати

годков не сровнялось, а ты...»

Учителя же на меня не нарадуются. «Чудинова притихла, – вполголоса говорит Рогнеда Табуретке (Степаниду Мишку проводили на «заслуженный отдых», теперь Рогнеда наша училка), – на уроках сидит как мышка, в дневнике одни пятерки». «Ну так а кто руку-то приложил? – подмигивает Табуретка. – К детям правильный подход нужен!» – Табуретка хлопает Рогнеду по плечу и только сейчас замечает меня: уроки закончились, я сижу на камчатке и перебираю свои «рукописи» – газетные обрывки с диковинным текстом и разрисованными физиономиями вождей разного калибра (давненько я не пописывала, ох давненько – вы уж простите меня, дорогие товарищи!). – Чудинова, а ты что здесь делаешь? Седьмой час, все уж дома давно, а ты... – Я тихонько кладу свое сокровище в папку с названием «Дело №», встаю. – Безобразие!»

«А это что у тебя, Гуль?» – Галинка! Только я вытащила заветную папку из портфеля – она и нарисовалась. «Да так, – говорю, – вырезки газетные: к политинформации готовлюсь – Рогнеда заставляет». Галинка недоверчиво разглядывает пухлую папку. И вдруг разрисованный и расписанный моими каракульками товарищ Фидель Кастро высовывает свой ус наружу, выскакивает из папки и, медленно кружась и лихо красуясь, опускается на зеленый, словно газон, палас

(помню, как мама перла огромный зеленый рулон на себе: «Два метра в руки давали, две очереди отстояла!»).

«Ух ты! – Галинка пучит глаза, поднимает Фиделя, сдувает с него пылинки, читает то, что написано между строк... «А здравствуй, милая моя! – Папа! Я выхватываю папку из Галинкиных рук, сую ее в верхний ящик письменного стола! – А ты откедова пришла? – Хватаю и товарища Фиделя, который подмигивает мне подрисованным глазом, прячу его в карман школьного фартука. – А ты, бабуся, не волнуйся! А все у тебе впереди! – заливается папа, видит Галинку, декламирует: – По утрам я люблю попивать молочко из стакана иль из кружки. Но жаль, что не каждое утро оно попадает мне в горло мое!» – это он намекает на бровастого жениха с молзавода. Галинка краснеет, папа хохочет, показывает лыч: мол, был да сплыл жених – и чинно шествует на кухню, распевая: «А шас покушаем колбаски, а где ты, милая моя?»»

Галинка шуршит фантиками, я пытаюсь засунуть товарища Фиделя в папку «Дело №». «Ну Гуль, ну покажи, что ты там прячешь!» – Вторая Аленка, ей-богу, только косичек не хватает. «А как же я люблю колбаску, а ну иди скорей сюда!» – заливается папа. «Ладно, смотри, только никому!» – я прикладываю пальчик к губам – Галинка понимающе кивает. Товарищи Гусак, Индира Ганди, Хонеккер, Анжела Дэвис и другие мелькают перед ее глазами, она, словно зачарованная, глотает мои писульки, смеется, ахает, попискивает, прикрывает рот ладошкой. «А ты не боишься?» – зыркает на меня раскрасневшаяся Галинка. «Чего?» «Ну, – мнетса Галинка, кивает в сторону кухни, где папа «кушает колбас-

ку», – папа же... ты же знаешь, где он работает...» – однако «рукописи» мне не отдает, покуда всласть не насмотрится и не начитается.

В субботу собираюсь в школу. «А здравствуй, милая моя, – напевает папа, аккуратноенько сортируя старые газеты и бумаги. – А щас газетки мы сдадим! В макулатуру, – папа замирает: словцо ищет – нашел, – в макулатуру, та-ра-рим!» Хохочет, перевязывает жгутом тяжеленные стопки старья. И вдруг будто какая-то игла впивается в мою голову, в груди раскачивается огромный маятник. Я кидаюсь к письменному столу, дергаю за ручку верхнего ящика... пусто... нет моих «рукописей!» «Пап, – кричу я, – где моя папка, тут лежала!» – глазами показываю на пустой ящик. Папа – ноль внимания – продолжает перевязывать газеты. «Талон на книгу нам дадут...» – заливается он соловьем: его настигла Муза! Подбегаю к нему, хватаю стопку, другую. «Иди отсюда, – рывкает папа, отталкивает меня. – Талон на книгу нам дадут...» Я не унимаюсь: с новыми силами кидаюсь на него. «Где моя папка?» – ору я. «Уйди, тебе говорят, псявая козьявка!» «Вот оглашенная, – кричит с кухни мама: суббота – на плите шкворчит и булькает. – Время без пяти два, а она еще тут! А ну быстро в школу! – Папины руки ловко и беспощадно перетягивают жгутом тощие газетные листы, пожелтевшие от времени и боли. – И этот, прощельга чертов, только и знает шлындать». И вдруг... да, это она, моя папка «Дело №»! «Отдай, отдай, это моя, моя! – ору я, вырывая из



папиных рук свое сокровище. Папа непреклонен: его руки словно созданы для того, чтобы перетягивать жгутом старые и новые бумаги, а они, бумаги, обескровленные, беспощадно трещат, а иные и рвутся под этим мощным напором. «Ну отдай...» – я затихаю. Все стопки перевязаны, выброшены в коридор. Из комнаты выходит Галинка: глаза, полные ужаса, не мигают. «Это не я, – читаю я в ее застывших глазах, – я ничего не говорила!» Папа надевает ватник, ловко закидывает макулатуру на тележку – и к лифту. Я следом: «Ну отдай, ну пож-ж-жалуйста...» – но двери лифта безжалостно лязгают перед моим носом, и лифт уносит папу вниз, в бездну... Я несусь по лестнице, я вырываюсь на улицу, я кричу папе в спину: она просто необъятна, словно китайская стена, – но он широко шагает, громыкает тележкой, а из ноздрей его вырывается дым «Беломорканала». «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а-а-а!..»

«Поешь иди, дочка! Весь день голодная треплешься, как лёгкая в горшке! – виновато шепчет бабушка, когда я, вернувшись из школы затемно, тенью шмыгаю в туалет. – Изверги чертовы! Ушла бы куда глаза глядят, ей-божечки, да старая стала!» «А давай вместе уйдем, а?» – мои глаза загораются. «Я тебе уйду! – стеной встает мама. – Я тебе так уйду, что ты... – замолкает, потом резко бабушке: – Мам, выйди!» «Нюрка, – строжится бабушка, – ты что делаешь? А ну цыц!» «Выйди!» – багровеет мама. «Силы небесные, – причитает

бабушка, – святые угодники! – робко перекрещивает воздух и плетется к себе, шаркая старенькими чунями. – Стара я стала, стара...»

Мы долго молчим с мамой, смотрим друг другу в глаза и молчим. «За что ты меня не любишь, мама?» – выдавливаю из себя. «Не люблю...» – выдыхает мама, садится за стол, подпирает лоб рукой, уставившись в одну точку. Сажусь напротив. «За что? Что я тебе сделала?» – пытаюсь сдержать слезы, которые бухают на клеенку, усыпанную крошками. «Не люблю... – стонет мама. – Думала... ты счастье принесешь, а ты принесла горе, одно горе...» «Но я не виновата в том, что родилась! Не виновата!» Мама только машет рукой и глядит в одну точку... Мама... К горлу подкатывает огромный шар: он мешает мне дышать, говорить, жить... Господи... Я люблю тебя, мама! Всю жизнь жду, что ты обнимешь меня, поцелуешь в макушку, улыбнешься, назовешь «доченькой»... Мама... Папа... Бедные, бедные вы мои... Какие же вы маленькие, какие глупые, какие беспомощные... Пропадете вы без меня, пропадете... А я... погибаю рядом с вами... Прости Господи! Врагами мне стали мои домашние...

Бабушка заболела. Лето, а она лежит в темной комнате, не берет в рот ни крошки и молчит. Смотрит в потолок и молчит, махонькая, сухонькая, без своего всегдашнего платка – «косматая», как сама говорит. «Это всё эта засранка, – рывкает мама, показывая на меня пальцем. – Скоро и мать в гроб

загонит». Тетки (а они теперь попеременно дежурят у постели больной) качают головами и поют одну и ту же песню: «Бессовестная! Мать с бабушкой ночами не досыпали, недоедали-недопивали, только бы ее вырастить, а она... Неблагодарная!» Бабушка морщится, ворочается, однако не произносит ни слова. Мне хочется провалиться сквозь землю... «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а...» «Старость, что я могу сказать, – качает головой пожилая врачиха («Сама уже одной ногой в могиле, – ворчит мама, – а по людям ходит»), которую мы вызываем на дом. – Не беспокойте ее лишний раз, попробуйте покормить». Приезжает Фекла Алексевна, золовка бабушкина – сестра моего дедушки, которого я отродясь не видела, только на фотографии («Петруша мой, красавец, – любит приговаривать бабушка, поглаживая старую выцветшую карточку, – волос вьющий, густой, чёренный, сам белый, румяный, полнущий – и пошто сложил ты свою буйную головушку на войне этой проклятушей?»).

«Ты чего это удумала, Татьяна Егоровна? – Фекла – чернобровая, глаза-уголья – говорит неспешно, нараспев. – Нака вот отведай моего кушанья», – и достает шанежки на сметане: дух такой, что мертвого с постели подымет. Но бабушка как лежала, безучастная ко всему на свете, так и лежит. Фекла причитывает тихохонько, мама и тетки смотрят на болезную испуганными черными глазами. «Отходит», – шепчет Фекла и крестит бабушку.

Я задыхаюсь. Огромный шар будто кто-то надул в моей груди – шар подкатывает к глотке и не дает жить. Что мне делать, Господи?.. Я гляжу на крохотную потемневшую иконку, которую Фекла Алексевна кладет бабушке на грудь и одними губами творит молитву. Божья Матерь смотрит на меня своими черными глазами, младенец благословляет правой рукой.

Махонькая, сухонькая – словно мумия, в белом платочке, в зеленом платье, которое ей еще «Петруша даривал» – бабушка лежит в гробу. «Сама как стручок, а нос торчок», – убивается Фекла Алексевна («на семерых рос, а одной достался», – говаривала о своем носе бабушка).

«Почитай полгода лежнем лежала, – качает головой соседка Ивановна, товарка бабушкина, – а какая шустрая была». «Отмучилась сердечная», – скулит теть Нина: это у нее собака Норка, которая подвывала нам с Алешей, когда мы прощались... «Все там будем», – крикает сосед Ефимыч и чешет взмокшую лысину мохнатой рукой. «Не надо тебе тут, Чудушко, – теть Шура! – и жарко дышит мне в макушку («в маковку» – так бабушка говорила). – Ступай, не гляди!» Мама кивает: пускай, мол, катится на все четыре стороны (мама, как теть Шура приехала, – что шелковая).

Ноги ватные – не идут, словно мне не девять, а девяносто. Конец октября... Снег... Занесло-то как всё вокруг... И ветрина хлещет по щекам, срывает худое пальтишонко, гонит невесть куда. «Гав-гав!» – «Джесси, фу, фу!» Ираида Нико-

лаевна! Джесси! Я падаю в снег и лобызую узкую мордочку Джесси – и рыдаю, рыдаю в голос, впервые за эти страшные полгода... «Поплачь, девочка, поплачь...» – шепчет Ираида Николаевна и гладит меня по головке. «Таня? Чудинова? Здра-а-авствуй, – дядь Саша: черт его принес. Сверкает лысиной с зачесанными на нее тремя волосинами, потом нахлобучивает на голову форменную шапку. – А я думаю, кто это там ползает? А это Таня. Ну-ну, ну-ну», – он скользко улыбается. На пупса, что у Васюлича на шкафу сидел, похож. И только дядь Саша делает «кругом – шагом арш», Джесси хватает его за вычищенный сапог. «Это вам так не пройдет, – отбивается дядь Саша – Джесси звереет, – я вам не... А ну, пшёл, пшёл!» – дядь Саша отпихивает Джесси. Ираида Николаевна кричит «Фу-у-у!» – пес поджимает хвост и виновато смотрит то на Ираиду Николаевну, то на меня. И мне кажется, что это я сижу на снегу с поджатым хвостом, виновато озирая остановившуюся жизнь...

«Чудинова, опять ворбн считаешь? – зычно каркает Рогнеда. – А тебя, между прочим, в состав редколлегии включили, ты в курсе?» Я отрываю взгляд от голого серого окна, заклеенного серыми же полосками – на бинты похожи. Мы обычно затыкаем огромные щели в оконных рамах ватой, а сверху клеим полоски, оторванные от старой простыни или пододеяльника: эти полоски мы промазываем смоченным в воде хозяйственным мылом. Весной срываем грязные «бинты», выколупываем из щелей грязную вату и моем ок-

на, протирая их старыми газетами... «Нет, не в курсе», – отвечаю безразлично: один оконный «бинт» отклеился – дуть будет. «И не стыдно тебе? – звякает по мозгам Рогнеда. – Вся страна отмечает 60-летие образования Советского Союза, а она...» Каблуки Рогнеды отстукивают какой-то чудаковатый ритм (та-ра-ра-ри-ра, та-ра-ра-ра).

Аленка – глазенки выпучила, косички подскочили к потолку – «Мы с тобой должны стенгазету сделать. Про Советский Союз», – пищит заговорщически: пигалица восторженная!

И вот целыми днями мы с Аленкой шерстим газеты и журналы. «Стала явью прекрасная мечта о многонациональном государстве нового социалистического типа – могучем, добровольном союзе свободных народов, спаянных дружбой и братством, – переписываю я очередную передовицу красивым почерком на ватманской бумаге (папа бумагу эту из кэгебы принес). – Следуя славным традициям, советские люди отмечают свой большой праздник – 60-летие образования СССР – высокими достижениями. В адрес ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, президиума торжественного заседания, посвященного юбилею, поступило много трудовых рапортов от коллективов заводов, фабрик, строек, колхозов и совхозов, передовиков производства. Миллионы участников соревнуются во всех республиках, по-ударному трудятся над осуществлением XXVI съезда КПСС. В ходе соревнования вновь ярко проявились

нерушимая дружба, сотрудничество и братская взаимопомощь между всеми нациями и народностями нашей страны». «А давай на нашу газету еще и марки наклеим?» – пищит Аленка. И мы клеим марки, выпущенные к великому юбилею: «30.12.1922 I Всесоюзный съезд Советов принял декларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик»; «В ходе индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революции социализм прочно утвердился во всех сферах жизни страны. Ярким проявлением силы социализма стал немеркнущий подвиг советского народа, его вооружённых сил, одержавших историческую победу в Великой Отечественной войне»; «Дальнейшие социально-экономические преобразования послевоенного периода стали основой построения в СССР развитого социалистического общества»; «Главной внешнеполитической целью нашего государства было и остаётся сохранение мира. Л. И. Брежнев»; «Живое творчество масс, вдохновлённых великими идеалами коммунизма, направляемых и организуемых партией – прочная гарантия успешного претворения в жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС».

«А здравствуй, милая моя, – заливается папа, подмигивая нам с Аленкой (мы торчим то Буяновых, то у нас), – а ты откуда пришла? А ты, бабуся...» – папа осекается, виновато смотрит на маму. «Шабала пустая», – бросает та. Ничего не изменилось...

7 ноября – воскресенье, вставать неохота, но я просыпаюсь от криков мамы и папы («Где мое кашне? – орет папа. «Прощельга проклятый, – отвечает мама, – я кому говорила: собери всё с вечера – вот теперь бегай как бешеный таракан!» «Ё... твою мать, – не унимается папа, – опаздываю, опаздываю!»), 7 ноября папа, в шинели, белом кашне и начищенных сапогах, тащит меня на демонстрацию. Мы с папой стоим на трибуне (мы не какие-то там простые смертные – в колонне маршировать) и созерцаем движущуюся толпу с флагами и портретами. Потом папе – он восторженно улыбается, пожимая руки Рыжову и Хохрину, – дают паек в оперном театре: колбаску, сгущенку, окорочок, рыбку, коньячок, разные консервы и, конечно, коробку с восточными сладостями. Возвращаемся, уставшие, замерзшие. Мама накрыла стол. Сидим, жуем, телек смотрим, папа опрокидывает стопку за стопкой, закусывая рыбкой. Вечером, увидев Брежнева на трибуне Мавзолея, папа пророчески изрекает: «Не тот Лёня Брежнёв, не тот», – и мгновенно засыпает. А 11 ноября бегу в школу: опаздываю! Навстречу Аленка – личико заплаканное, косицы висят, шапочка надета задом наперед. «Леонид Ильич Брежнев умер, – всхлипывает пигалица, – нас домой отпустили».

«Как же мы теперь жить будем? – пищит Аленка: мы продолжаем делать стенгазету: перерисовываем из советской энциклопедии гербы и флаги союзных республик. – На нас же нападут... эти, как их... – Аленка замолкает. – А вдруг война



начнется? Рогнеда сегодня – ты опоздала – говорила, что теперь империалисты точат на нас зубы...» На следующий день с работы – из кэгебы – приходит папа. Он как-то непривычно свеж, моложав, бодр, подтянут, глаза его блестят здоровым блеском. Даже одеколоном от него пахнет. «А ну дыхни», – тут как тут мама. Папа дышит ей в лицо – мама недоуменно морщится: трезвый. «А здравствуй, милая моя, – заливаается папа соловьем. – А ты откедова пришла?..» Папа садится за стол, ест суп, холодец, соленые огурчики, чавкает, хохочет. Мы – я, мама, Галинка – навтыяжку стоим перед ним и ожидаем какого-то золотого слова. «Порядок теперь наведем! – восторженно восклицает папа. – А то распоясались: работать никто не хочет («Ты-то переработал, – робко бурчит себе под нос мама. – Только и знаешь москвича поить да “Луку Мудищева” одним пальчиком перепечатывать»).

Вместо того, чтоб, понимаешь, на местах сидеть, они, мать их за ногу, по кинотеатрам шляют. В рабочее время. Ну ничего, – папа выпивает водочки, хрустит огурчиком и вдруг заливаается: – А ты, бабуся, не волнуйся, а всё у тэбе впереди!» «Прощельга чертов!» – мама сплевывает, машет рукой и выходит с кухни. Мы с Галинкой переглядываемся. «А кто порядок-то, ты говорил, наведет?» – басит Галинка и густо краснеет. «Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, – подскакивает папа, – товарищ Андропов Юрий Владимирович! Он всё видит», – папа прикладывает руку «к пустой голове».

В телевизоре товарищ Андропов Юрий Владимирович, в газетах товарищ Андропов Юрий Владимирович. На профессора похож. Папа насвистывает. На работу он теперь собирается, словно на свидание, даже рубашки стал часто менять (мама всю жизнь теткам жаловалась: «Рубашки постираю, отглажу – а он, пропастина проклятая, грязную рубаху из корзины достанет и идет меня позорить!» – а теперь сплевывает: «Хоть в гроб клади!»).

Как-то утром подхожу к папе – он в белой рубашке, на одеколоненный, насвистывает «А здравствуй, милая моя! А ты откедова пришла?», подмигивает мне, показывает лыч. «Опаздываю», – спохватывается папа, натягивает пиджак, бежит в коридор, чистит ботинки, но как-то восторженно чистит. «А Алеша... вернется?» – вдруг спрашиваю я. Папа замирает, глядит на меня серьезно, очень серьезно (сроду он на меня так не глядел), качает головой: «Нет». Мгновение – он хватает куртку, всовывает ноги в ботинки, нахлобучивает на голову шапку (папа сам рассказывал, в армии ему приходилось одеваться за то время, пока не догорит зажженная спичка) – и в дверь. «А ты, бабуся, не волнуйся, а всё у тэбе впереди!» – горланит папа, скатываясь по лестнице... «Ведро пустое, – доносится до меня будто откуда-то со дна голос бабушки. – Нет чтобы что-то доброе девчонке сказать... Эх, горе горькое...»

Грудь мою распирает... Огромный шар, это он подкатывает к глотке и не дает жить. Я мечусь по квартире, я словно

пытаюсь вырваться сама из себя... Деньги... Где мои деньги? Я хватаю коробку из-под «Птичьего молока» – на месте! Засовываю купюры в портфель, туда же запикиваю какие-то вещи, тетрадки... Быстрее, быстрее! Надо бежать! Запрыгиваю в автобус, покупаю билет (билет счастливый – проглатываю серую бумагу: мы всегда с Аленкой глотаем счастливые билеты!)... как же долго ехать... как же медленно плетется этот 101-й автобус... я не выдержу...

«Ну чего, уснула, что ли? – лупит мне в спину хриплый голос. – Люди в очереди стоят, а она рот раззявила!» Откуда-то с потолка раздается монотонное: «К сведению пассажиров, вылетающих рейсом 1861, ваш вылет задерживается до двадцати четырех ноль-ноль...» Какая-то тетка с большими чемоданами охает, утирает пот со лба, плюхается на сиденье. В ушах моих гудит, я прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Господи, помилуй! Из-за стекла на меня смотрят голубые кукольные глаза. Я достаю деньги из портфеля. «Мне один билет... до Парижа...»